Журнал «Рец»

№ 61, февраль 2010

ПРОЗРАЧНЫЙ

Выпускающие редакторы:
Василий Бородин, Екатерина Завершнева

Содержание

Тексты
Анастасия Афанасьева. Комедия луча. *Стихотворения* 4
Василий Бородин. *Стихотворения* 18
Полина Андрукович. *Стихотворения* 26
Екатерина Боярских. *Сказки* 34
Елена Сунцова. *Сны* 45
Екатерина Завершнева. Огненный дракон. *Рассказ* 50
Рафаэль Левчин. Пилоты. *Стихотворения* 63
Павел Настин. Синяя макрель. *Стихотворения* 70
Никита Сафонов. *Раздельные стихотворения* 75
Марк Кирдань. Дни стрекоз. *Сонник* 81

Фотографии
Федор Сваровский:
фото 1 3
фото 2 49
фото 3 69
фото 4 97
Павел Настин:
фото 1 17
фото 2 25
фото 3 62
фото 4 74

Живопись
Екатерина Горлина:
иллюстрация 1 33
иллюстрация 2 44
иллюстрация 3 80

Об авторах 98

©2010
Выпускающие редакторы: Василий Бородин, Екатерина Завершнева
Верстка: Ирина Максимова
Координатор проекта: Павел Настин
Все права принадлежат авторам опубликованных материалов
Все материалы опубликованы с личного согласия авторов

Федор Сваровский

Анастасия Афанасьева

КОМЕДИЯ ЛУЧА

Полый шар

Вот полый шар
Он в воздухе подвешен
Его должно качать,
Но не качает
Он должен бы упасть,
Но он подвешен

О, чудо, так возможное сегодня

Вот я сижу на шаре,
Будто девочка
Вот прыгаю на шаре,
Будто мальчик
И должно оступиться,
Но я прочно

О, чудо, так возможное сегодня

Мы с шаром —
Рихтер, Седакова, Хайдеггер,
мы — Элиот, Целан и Львовский,
Фуко мы, Монк, Колтрейн,
И Битлз мы — то Леннон, то Маккартни

Прозрачный шар в пространстве
Слышишь, улитка
Звенящий шар в пространстве
Слышишь, бабочка

Мерцающий прозрачный
Слышишь, мама
Звенящий и смиренный
Видишь, Боже

В руке моей флажок он развевается
И нежность — плотная сплошная
И сила — густая смоляная
И тонкая дрожащая — любовь

Дотянись до меня пальцами Рихтера
Я, будто трос, аорту словом протяну

О, чудо, так возможное сегодня,
О, бабочка, улитка, мама, боже

Я трогаю кожу мира

Как странно: я трогаю кожу мира.
Едва-едва, легким дыханием, кончиком пальца.
Кожура: теплая, проницаемая.
Между и между. Я трогаю кожу мира.

Сквозь нее проходят странные путники,
Тихие птицы. Там, под кожей, — огонь.
Вот кто танцует в огне — кто проникнуть туда посмел!
Сколько цветов кругом, невероятного пульса.

Как странно все вращается в танце.
Как странно быть маленьким человеком.
Как странно трогать кожуру кончиком пальца.
Еще страннее трогать ее словами.

Переходить оттуда туда.
Танцевать словами.

Ты, часть отгрызенная от целого,
Ты, тоскующее, зовущее,
Ты, пустоту знающее — ту, огромную,
Ты — тоска по той пустоте,
Ты у нее под кожей.

С неба падают цветы, сияющие гвоздики,
Это, должно быть, свадьба в соседнем доме
Или же кто-то умер.
Кто-то чувствует что-то большое:
Радость ли, горе.

Кто-то помнит что-то большое. Он устремлен.
Кто-то бежит вверх по лестнице.
Распахивает окно.
Ах!
За ним ничего нет.

Как странно: я трогаю кожу мира.
Сила, приди к нам, песня большая, приди к нам.
Горы, придите, придите, моря, снизойдите, боги.
Это стучатся люди.

А что еще может быть поводом, если не люди.

Сердцевина грецкого ореха

То, откуда я вырос
То, во что прорастает все
Спрятано в сердцевине
Грецкого ореха

Не откладывать ни вечного,
Ни сиюминутного
Ежедневно думаю об этом,
Будто делаю утреннюю зарядку

Человек внутри грецкого ореха,
Разбросанный по деревьям,
Ничего не умеет говорить,
Даже шепотом

Мне хочется туда зрением,
Мне хочется туда слухом
Там, внутри — это правда! — действительно человек
Глаза его уголь, руки его трафарет

Человек в сердцевине грецкого ореха
Я хочу оказаться там, где всегда пребываю
Я чувствовать хочу, слышишь,
Шероховатую скорлупу, бежевое ее тело

Каждое утро плачу за проезд как современник
Говорю «мама» как тысячелетиями говорили

Так мое вечное путешествует вместе со мной
Так сиюминутное мое мчится по трамвайным рельсам

Будь моя воля, не пробил бы никакого билета,
А только чувствовал зачарованно
Вот мое громкое счастье: вылупиться и падать,
Вот мой великий ужас: прыгучая быстрая белка

Вот дерево мое: перевернуто

Комедия луча

это солнце напролом солнце напролом
Василий Бородин

1.

«Отвори», — стучится Матильда,
полосатая кошка

За окном льдинки стучат
Друг о друга бьются
Тонкими нотами ксилофона
Высокими струнами пиццикато

Но время идет
Пейзаж разворачивается крылато

Разверчивается из каждой щели
Раскрывается
Распускается

Кто же выдержит это сплошное движение вещей?

«Не вещей, жизни»
Поправляет

Кто поправляет,
Если не человек

На вершине высочайшей многоэтажки
Теменем подпирает время как таковое
Печальный наблюдатель

2.

Разлита вода,
Разлита земля,
Протянут воздух

Цепью стоят повсюду связанные
Причины

Причина Матильда,
Причина клевер,
Подорожник причина,
Каштан, воробей, прохожий, машина, окно

Там, наверху, человек скован печалью
Густое в сосудах его
Легкие свинцовой ватой набиты

Он один знает о времени

Оттого сидит и не шелохнется
Картонная статуя
Сумасшедший

Жует сигарету вместо того чтобы

3.

Чтобы прыгнуть и лететь
В громадном раскрытом бутоне

Напролом,
Напролом,
Напролом!

Или бережно
Нанизываясь на ветки
На птичьи перья
Троллейбусные линии
Кошачьи когти

Оседая на них именами
Словами

Затронутой тревогой
Любовью и страхом
Ужасом если надо

Как далеко простирается печаль взгляда!
И как близко ложится печать чувства

4.

Открыл кошке

Разбудил утробное мурлыканье
Ответил нежностью

Вышел

Сентябрь насыпал на мою голову в наушниках
Желтые солнца

По виолончели Кнушевицкого
Я поднимаюсь в дом

Отвори, — стучу
И дверь приоткрывается

Свет!

Для рождения полосы света
Достаточно узкой щели

Узкий,
Щелевидный,
Солнечный,
Желтый,
Любящий,
Боящийся,
Родной!

Выйди же,
Выйди!

Пусть печаль обрушится на тебя
Огромной лавиной

Пусть воздух, связующий всё,
Будет тебе домом

Пусть всякая любовь
Станет тебе зеркалом

Пусть всякий смысл
Отзовется словом

Пусть ты станешь
Свет щелевой

Зажмурившись,
В лучик собравшись:
Вперед!

5.

Печален лишь человек
Естественна радость

Залезь в свой колпак
И сиди там
Накрывшись листом

Слушай квартирного паучка
Скребущуюся кошку
Свистящее время

До тех пор пока не сработает пружина
Скрытая под сердцем
И не вытолкнет тебя вверх
К самому солнцу

В огонь

6.

Смотри
Ибо всякое существо горит —
Так и ты внутри
Горению отвори

Ибо мир — совершенно крылат,
Ибо он — кислород,
Ибо я — настолько же я,
насколько я — весь мой род,

Ибо в самом твоем ядре
Живет всякая точка, пляшущая в костре.

Ибо — я угол и конус,
Ибо я — голос,
Ибо все разворачивается из себя
И возвращается в себя,

И поэтому — ввинчивается вовнутрь дом,
Обрушивается дом.

А любовь и страх, тревога и нежность
Летят свободным и световым ядром.

Письма из южного города

Письмо первое

Она толкает коляску перед собою.
Что открывается ей, когда она смотрит вперед,
Кроме горизонта и мохнатого прибоя?
Кто она сама перед собою?

А он смотрит на нее глазами младенца,
Он завернут в тихую ткань. Ребенок лишен протеста.
Куда идут они — то ли по отдельности, то ли вместе,
Пока на пляжах, будто махровые флаги, разбросаны полотенца.

Лети, не лети — говорит она невидимке,
И тоненьким плачем вторит ей тот, в коляске.
Лети, не лети — остаешься на месте,
Остаешься на месте пляски.

Перебирала то, что казалось лучшим,
А оказалось — тем, что всегда готово.
Что лежит доступным товаром на плане переднем.
А вовсе не тем, что скрыто за словом.

Ах, как идет она, стройная, рыжеволосая, тонкая,
Грациозная, как балерина. Что она видит,
Что она видит за пределами горизонта, если не то,
Что непременно случится с ними.

Письмо второе

Я снимаю замок со своей головы.
Я до пяти считаю.
Я был безалаберным учеником в школе.
Но не только от отличников,
От меня тоже
Останутся стаи,
Стаи птиц, рассеянные среди облаков

А сейчас — их двое:
дорога и дом.

Дорога огромна, а дом мал. Вот и весь алфавит.
Я открываю словарь на букве «в».
Вижу: висят, висеть, висишь, висит.
«Я» подвешено.

Мертвый Леннон поет песни в моей голове.
Смешивается с Моцартом. «Я» спит.

Ах, какая дорога открывается впереди,
Какое свечение морского пейзажа!
Как бы не сбиться с пути,
Как приобретение не спутать с кражей?

Письмо третье

Дети в колясках едут большими составами,
Едут, как поезда, едут,
Оставляя позади пляжи, горы, крымские села, города, пожары

Как тут не вспомнить, кем был?
Как не думать, кем еще будешь?

Письмо четвертое

Слово слову — юла, основа, сова.
А ну-ка, пересчитай на пальцах, сколько песчинок на пляже.
Плавающие женщины. Летающие слова.
Кто это все развяжет,
Распутает, кто позволит вынести урок?
Кто разрешит хоть раз получить «отлично»?

Вот они мы, у нас портфели в руках и дневники в портфелях.
Дома нас ждут родители.
Пусть бы нас не ругали.
Пусть бы приголубили.
Обняли,
Поцеловали

Письмо пятое

Я очень внимательно смотрю:
Женщина с коляской взлетает в небо
Полотенца взлетают в небо
Шезлонги взлетают в небо
Песчинки взлетают в небо
Даже море взлетает в небо

Я жду, что же произойдет,
Если небо взлетит в небо?

Письмо шестое

Там, где синь, где такой откос,
Откуда лошади падают в море
Практически ежедневно —
Там живу я, там я пророс,
Там я слушаю голос прекрасной девы.

Там остается мне только одна печать.
Там меня перебирают как струны арфы.
Там стучится в меня античность и — будто тать —
Приходит ко мне совесть в лице Сиддхартхи

Я видел маленькое чудовище, упыря.
Я отменял все числа календаря.
Я знал, что все зори — это одна заря.
Что синева бесконечна.

Я видел, как синь сворачивается в саму себя,
Как прыгают мячики звезд,
Как пляшет сердце.

Господи, у человека такое сердце
Я волочу его за собой стопудовой тяжестью
Наподобие улитки
Всегда несущей на себе весь свой дом

***

Как это можно вытерпеть? — первому снится,
Будто он спрашивает кого-то.
Жалят осы, падают камни, загораются листья.
Темно вокруг, дороги не видно.

Ему отвечает кто-то: вот женщина, у нее тонкие руки,
Серые глаза, она ходит легко, как падает снег,
Говорит как поет и спит как летает.
Посмотри на нее.

Как это можно вынести? — снится второму,
Будто он спрашивает кого-то.
Рыболовные крючки застревают в коже, режут ножи.
Впереди ничего нет.

Ему отвечает кто-то: вот лес, огромный и тихий,
Внутри его семенят мелкие животные, топают крупные животные,
Он шевелит ветвями, как женщина руками.
Посмотри на него.

Как это можно пережить? — снится третьему,
Будто он спрашивает кого-то.
Не сдвинуться с места, кругом пропажа,
Ничего никогда как раньше, темно и страшно.

Ему отвечает кто-то: вот небо, полное жизни облаков,
Самолетов, мелких зверей, крупных зверей,
Летающих дураков
Посмотри на него

Просто смотри вокруг, не спрашивай ничего

***

Хочется стоять прямо и ничего не хотеть
Быть чуть-чуть обнуленным
Хочется большую волю впустить,
Нежели та, что внутри устремляется,
Будто ребенок

Хочется поймать единственную волну
То ли FM, то ли чего главнее
Отдать последнюю дань своему уму
И попросить его замолчать:
Во всяком случае, пока мы тут и белеем

Хочется настолько никем не быть,
Чтобы только воздух свистел внутри
Будто торнадо
Труба
Воронка

Хочется быть пустым, чтобы все вместить
Всех вместить — внутреннего ребенка,
Убийц и воров, ближних дальних соседей,
Так любить,
Чтобы быть одним и, наконец, всем исчезнуть,
Вместе

Господи, — кричать,
Господи, — молить,
Укажи нам в творении своем наше собственное место

Белеть бумагой, белеть лицом смиренного мима
Говорить соседу: прости за то, что ты его убил
Прости за твою страну
Прости за то, что ты у меня украл
Прости, что меня нет
А есть только сгусток
Дрожащий свет

Тихая любовь
Морская звезда
Черная земля
Синее небо
Острый риф
Белый коралл

***

За прозрачным стеклом только жизнь дрожит
Никого кругом, никого
Вот яблочный падает водный летит
И сплошной водный воздух стоит

Выйти из дома, тонуть и дышать,
Яблоком стать,
Или растеньем каким
И руки тянуть
Белыми стеблями вверх

Но отчего
человек человеку — снег?

Никого вокруг, только жизнь дрожит
От неба до пяток — рябь,
До темени — хлябь
И льется с небес
Немыслимый вес

До тех пор, как впитает его земля
И высушит солнце его
Ты смотри в окно
Ты смотри в окно
И не плачь ничего

Ничего не плачь, никого не плачь,
Ливень — таянье зим
И пока тепло, и пока горяч —
Как возможно — сливайся с ним

Отчего человек человеку снег,
Засыпая, спрашивает человек,
И яблоко падает, как стена,
И, треща, отвечает: «На».

Павел Настин

Василий Бородин

***

это лицо человека идущего по камням
у него всё впрок и зачем куда
раздвигаются руки реки текут в золотые тяжёлые невода
и в горах поднимается солнце

что там видно что ставить спектаклем что бить дождём
вот и голые груши мокнут и золотой бобиной
море скатывается дышит в глубоком сне
воздух по весне

как по площади — как летит-идёт!
разным бякам пишет в затылке: всё
подражает будущему несёт
голову назад

пишешь просишь теплишься — никуда
а приходят волны смешной водой
попадаешь в раму где невода
дождь и солнце воздух седой-седой

***

дар трогать воду

что-нибудь столь же — ранящее?
чужое
недостижомое в самой-самой близи
когда видишь и просишь
харон
не могу и завидую
перевези
а всё улыбается
всё
всё с тобой

***

небо небо низкое
радостное близкое
тёплое чужое
может быть простит
плавательный ветер
кто за всё в ответе
плавательный ветер
молодо летит

это его слёзы
радостные всхлипы
это наши слёзы
радостные пни
где-то наши головы
головы как липы
как слепые птицы
головы, они

***

о золе и крыле
остальное
пыль усядется
радио
дом
набегает волна и волною
коридор коридор

на предметами вытертых
тенью
опредмеченных вдохах — враньё
одомашненное как растенье
неземное
как сердце твоё

укороченный выдох
удача
рамы крыльев
с птенцами в золе
не угадывая и не плача
первым воздухом
на земле

***

иногда на границе
облаков и деревьев
появляются птицы
меж четвёртым и третьим
часом перед закатом
меж четвёртым и пятым
всё у птицы не значит
ничего кроме солнца
ветки голые скачут
ветви с листьями сохнут

и опять всё иначе

***

ты что плачешь и красиво гнутся парусники в лёд
обнимаются бросая голос воду и полёт

— пишу может быть рифмуя
с телевизором а не
со строкой; строка больная
выздоравливает; снег

яблоко на снегу

***

он какие-то зе́мли боже
ламп лоскут
и семейное сердце тоже
камни ткут

у пошли на горе́ дружочек
исаак
ленты ветра в венок-кружочек
и сова

одолели песок и чудом
родились
и никак не уйдём отсюда
(я люблю тебя я не буду)
моя жизнь

***

это стаи китая и через зарю
я тебе о тебе говорю

прыгнет цапля улыбки поднимет кольцо
как подзорные трубы лицо

ангел глобус и луч на витражном свинце
с самолётом лазури в конце

где бы сердцу гнездиться ни перевелось
облака с веерами насквозь
поднимаются флагами с лестниц бегут
золотыми стволами минут

это радуги в дугах бровей навсегда
теснота голосов в проводах

угадай мою сторону от головы
это солнце отмаливать рвы
не сбавляя усталости, с хвойной корой
возвращается, едет домой

***

о оседанье облака
пока сверяли час
и катится по яблоку
мелодия лучась

под золото сусальное
подуть и донести
так городам Писание
вставало на пути

у яблока окошечки
стучали на ветру
но огненные кошечки
не вырвались из рук

и чем в земном ядре темней
скучней и горячей
тем чище тише меж камней
камыш несёт ручей

***

1

тихо ломается в воздух и дверь
я и забыл а где буду вчера
памятник воздуху заперли дверь
чай поют по утрам

чай от отчаянья сладко лепить
первые высятся говоря
ласточку нитью не прятать не пить
полк вести до утра

выяснить так и враги уже там
вне — досягаемость солнечный сдвиг
тени на крыльях песка и кустам
радио — черновик

2

первые глаза
уходящий рог
серый — небеса
наволочки клок

сыпется пестря
белая вода
жалуясь горя
ходят провода

улетали тень
переворошив
и короткий день
говорит что жив

рамы каморок
воры камней
с уточек-лодок
лезвия дней

или по ранам
как по москве
ходит экраном
ветер в траве

3

третья европа снизу
два глотка
мальчики по карнизу
молока

пыль горит абажура
тень трубы
лестница я дежурю
снег гробы

в возрасте пастернака
есть любом
вроде отмены знака
церкви «бом»

радуется голубка
на снегу —
радио ли, улыбка
на бегу

4

цикл очередных радуг
перекрыл путь
каменной пы́ли правды
встретимся как-нибудь

встретимся как-нибудь
останемся чем-нибудь
только ты будь

путь

***

небо счастливое
ночи ночлег
во́рона радуга
внутренний сон
не облететь
сердца всего
там из расщелин
сухая трава

вниз по просторному вдоху земли
вверх по просторному выдоху дня
вспомни меня
(забывай меня в счастье)
ветер летит
вслед

Павел Настин

Полина Андрукович

.....

отцу

бездонье серое; и я пойду по
магазинам, неопределённо зи"Я"
ющим вокруг бездомь
"Я" моего, а пока
что́? — голубей я соблаз
няю с подоконника остат
ком белого подсохшего ба
тона, что мама крошила
в тот пакетик
полиэтиленовый… уж хлеб подсох, я долго не могла
его отдать
отомна
придёт, — дерутся голуби: всё будет, как
всегда, и только то без
донье в глаза мне смортритнет смотрит…
над магазинами оно высо́ко,
под магазинами оно глубо́ко;
я, в шутку, Богом назову
его, и ты останешься; тог

да

пойду…

(вот, вышла, и, упавшие с
карниза нашего, кусочки хле
ба на асфальте
печаль той яшмы
зелёной в том,
что ты останешься одннет один; б.м.,
веселье твоё с тобой…)

.....

помести мою юность меж рук моих, см
отри на мою лень: я вижу сны,
где ты мне
отдаёшь меня

порывом
несметным, прорывом наметённым ннет горизонта
мёртвого, — душа сознания...

.....

далёкий Вызов
немеет; ищи, кричи горес
тью
своею, го'

речью плазмы ищи: спаз

"мы" Неба — облака, и я
не различаю

в Вызове себя, я проиграла
волю — Спокойствию
спиной открытою,

и ветра

нет.

.....

ату его, à tous, ко всем,
отсюда видно, как гонят

его по улице к метро; пос
лушать воду телом

и он пропитан мною, и я

прошу за тебя
у него, и расста
вание единственно; его

вишнёвый силуэт у мамы в
саду улыбается движе

ние Луны мгновенно,

и оркестр играет.

.....

...как след движений "ты",
они пусты, как след движе
ний "он", они страдают; как
след движений "я", они исчезли;

как след движений "мы", они
одиноки...
но
изменяются Солнца и Луны свет и
тень: твои движения одиноки

руды леднет лежат там, и это Тв
ердь Небесная, и пластика

движения завер
шена на мгновение:
бесконечна Твердь.

.....

что было в Питере?

что́ было?

мы не занлинет знали
наверное, угроза ясного голубого
неба, чьё рав
нодушие мы и вос
приняли, и он

разрушило многое душевное
близкое в нас; у тебя
уже прошло, у меня никог

да

не пройдёт: я радуюсь.

ни "любви", ни "сострадания":
соответственно. Небо
было
больше нас, и ты обид
елся на это... тёплые, мы ос
ты'ли. я не узнаЮ
из этого опустошения тебя
теперь:
ты ли?

.....

...одушевлённое небо —
не птицами, нет, просто людьми, —
силовые сплетения света
и сполохи тьмы бес
сильные, оттеняющие
свет, — забытая

тень
щнет
забытая в Небе быв
шим Ангелом...

.....

как много людей! — ск
олько? — столько же, сколь
ко слов;

и слова повторяются
одни и те же, потому
что
слов — мало...

.....

честно говоря, в Панте
оне не всё нормаль

но: разбежались
боги
по людям, пере
путались с ними
и ещё с растениями

и с животными

и с землёй, соот
ветственно,

и с воздухом

со'ответственно

.....

свечка широкая оплы
вает внутрь внутри
огонь чувства оплы
вают внутрь, как во
ск

.....

Дождь валится, (говор
ят, "идёт", а — "ва
лит" — Снег) но Снег

заваливает прошлое,
а Дождь валится куда
попало, — в прошлое, в
будущее, в настоящее, —
и отваливается ка
мень, подмытый Дождём, от

пещеры...

.....

поврнет
поворот ограничение

голос предмета слаб,
когда его не слышат,
голос человека слаб,
когда его не слышат
голос Бога громоподобен,
когда его не слышат

поворот раздробление
молчание предмета и чело
века громоподобны всегда,
молчание бога похоже
на голос предмета, когда его
не слышат

голос человека похож на
молчание бога

.....

свет машет крылья
ми,
мельтешит, слива
ются движения в Еди
ное пространство без

теней, и только тень
моя во мне

.....

приду Другая; вся в
гуденье голубей и в голоде хо
лодном их

приду Другая,
потерявшая тебя в себе;

гуденье чувства и голод
его хорлонет холодный;

мерцает день Другой
в обличтнет обличье Этого,

обличтнет
обличья

бесконечны.

.....

солнце, конечно, конечно. Память
о солнце
конечна. Вещество солнца конеч

но

вещество памяти о солнце

бесконечно...

.....

2009

Екатерина Горлина

Екатерина Боярских

Сказка о дедушке

Так тебе и надо, ходи теперь пешком через весь город, полтора часа туда, полтора часа обратно.

Воздух пахнет мокрым снегом.

Быстрей всего через рынок.

Не на площади даже, сбоку, где не останавливаются, где идут, целый день бегут и бегут мимо — там люди сбились. Толпились, толкались, шептались, лезли в центр.

Старик поставил старую парту и торгует.

Картошка горками, рис, банка сгущёнки — всё. Старушки проталкиваются, кричат:

— Сколько? Сколько?

Он смотрит серьёзно, долго, пока не увидит, кто спросил; каждой отвечает:

— Один рубль.

Некоторые от неожиданности отходят. Другие: — Три кило! Пять кило!

Отвечает: — Нет. Нет. Сам положу, сколько надо.

И всем по-разному. Побольше, поменьше, рис, рис, картошка. Мелкая.

И я подошла. — А мне?

Посмотрел, говорит: — Тебе — два рубля. И насыпал картошки в прозрачный пакет.

Всё верно. Тут всё верное — пакет, картошка, монета.

Я ведь его второй раз вижу.

Да, чудесный дедушка, я тебя помню — на песчаных островах из исчезающего дыма, только отвернулись — возник, рассказывал, где облепиха растёт, всё знал, всё видел. На острове стоял, вроде бы пешком к нему можно пройти, а не пойдёшь, улыбается или нет. Дымка. От ясности такая бывает, от сверхрезкости.

На рынке дымки не было уже. Шум, табак, растаял мокрый снег.

Люди проходят как дни идут, а дедушка помнится. Нет его на прежнем месте, старой парты тоже нет. Может, он внутри, там, где сыр и молоко, где фрукты и торты, где мёртвые свиные головы с закрытыми глазками, где собираются вместе убитые рыбы, убитые кони, убитые дети коров, чтобы мы посмотрели на тех, кто не может уже смотреть на нас? Может, дедушка там, может, он там греется, идёт по рядам — телятина, телятина, свинина, говядина, телятина, свинина…

На рынке такое творится, что никто ничего не покупает. Люди не могут купить еду — они перестали понимать.

Вперемешку с торговцами, через двух, через одного, встали старые люди со старыми табуретками, детскими стульчиками, ящиками из-под посылок.

Никаких бананов, никаких апельсинов, никакого печенья, никакой колбасы.

Картошка, хлеб, крупа, консервы. И на листах в клетку, на трамвайных билетах, на оборотах старых открыток — 1 рубль.

К ним не подходят. Старики стоят, как на выставке, в рядах, в пирамидах зелёных яблок, между мандаринами из Марокко и зефиром в шоколаде, как на параде, как на посту стоят, опустив глаза на мелкую, плохо мытую картошку. Один рубль, — молча говорят они. Один рубль. Столько, сколько надо.

Покупатели сбились в кучу. Они уже не покупатели. Они не знают, как им чувствовать, не понимают, что делать.

Я хочу послушать, что тут творится, что говорится.

«Дедушка-дедушка…» — думаю я, а больше ничего не думаю.

Толпа — как высокие деревья, я потеряла направление, не вижу лиц, не понимаю, кто говорит:

— Почему вы думаете, что это люди? Люди так не делают. Неужели вы не видите, кто они? Взрослые люди, а не знаете, что это кодекс нонно?

— Кто такие нонно? — спрашиваю я непонятно зачем, неизвестно у кого, и вопрос, как змея по воздуху, вьётся между человеческих тел, проникает сквозь выкрики и достигает цели.

— Рыбы? Русалки? Бессмертные из солнечной реки? Спроси у них сама. Выйди под небо, смотри закрытыми глазами в солнечный свет.

Мне не о чем их спрашивать. Дедушка-дедушка, что б ты ни делал… Мне хочется видеть.

Видеть закрытыми глазами, если открытое зренье теряет след. Мне ещё долго, мне ещё навсегда ничего с этим не сделать. Я и есть — видеть, я и есть — желать видеть то, что люблю. Я — желание зрения, вот и всё, и я выхожу под открытое небо с закрытыми глазами.

Они живут в солнечной реке. Русалки? Нет. Рыбы? Нет. Нонно? Нет. Назови как хочешь. У меня нет вопросов. Я наблюдатель, впечатанный в стену места, в котором торгуют мясом, в стену места и времени, в страну места и времени.

— Но вы пришли? Это вы продаёте нам картошку?

— Это не мы, — говорит бессмертная, алая, золотая. — Это вы, ставшие нами. Не всякий может прийти в нашу солнечную реку, а только тот, кто стоял босиком на вашей голодной земле. Земля не одинакова. Земля не пуста, не пустынна. Она светла. Где-то на ней потеряны острова.

Солнечная река остаётся, а я уплываю, веки теряют прозрачность.

Где-то есть островки, меньше малого, никакого отличия. Но тот, кто ступит на них босой ногой, может войти в солнечную реку.

Дедушка с острова, остров в осенней дымке. Старые люди на рынке.

Сколько им пришлось ходить босиком, чувствовать камни и грязь, чтобы увидеть реку.

У них были долгие жизни, чтобы ходить по земле… чтобы стоять потом с кривым табуретом, с трамвайным билетом, глядя людям в глаза.

Сказка про гигантскую руку

На берег вышел уже больным.

Зачем я зашёл в эту зелёную воду? Водоросли живут своей жизнью. Кто-то рисует их стеблями; я проплываю среди объёмных рисунков и никак не могу увидеть цельную картинку. Зелёные водоросли в зелёной воде скрывают от меня своё единое начертание и тот разум, что живёт под водой. Я заболел, когда коснулся его рукой. Или рукой мысли. Или мыслью руки. Когда долго плывёшь в зелёной воде, не видишь себя, не видишь дна и, кажется, даже не дышишь, становишься таким юным. И я коснулся того, кто существует, кто скрыл себя в воде, кто написал своё имя в микротечениях, в соприкосновениях воды и воздуха, в прожилках зелёных листьев, в изгибах высоких водорослей. В этот миг я и заболел. Я заболел, когда его коснулся.

Не помню, как меня на берег вынесли. — Это друзья, — думал я, а они со мной не говорили. Унесли в комнату, оставили бредить в подушку. — Почему вы ко мне не заходите, почему оставили меня одного? Я больше не могу думать, мой мозг наполовину растворён, он разорён и не принадлежит мне больше. Оставшейся частью я мог бы вернуть всё на свои места, но фундамента нет у вещей. Слишком зыбко. Прозрачная зелень воды растворяет мир, зачем мне это останавливать. А если бы был в этой комнате друг, то разум уплотнил бы вещи, и я б остался. Почему вы отошли от меня?

Я знаю, что вечера нет, что вечера не бывает. Я отказался от вечера и утра и брожу другими дорогами, но когда выныриваю — зову и зову друга. Я уже не могу разглядеть его лица, но он, наверное, видит моё. Он говорит издалека: я нарочно не захожу к тебе. Ты должен быть один. Скоро ты изменишься. Тебе это понравится.

Он что-то ещё говорит про арку, но арки нет. Я сразу вырастаю под облака. Нельзя быть таким большим, нельзя, чтоб меня было так много. Я — рука. Я ничья рука, подбрасывающая шар, — это моя голова, это моя сила. Я рука, не принадлежащая никому. У меня молот.

А мир не пуст. «Сломай себя, обрушься на себя, подчинись мне», — давит на меня. А я рука. Я — буква Л, где-то в моём основании ещё живёт крохотное я, забывшееся в болезни, там мир, маленький и любимый, оставшийся на земле, существа мои и связи. Если я рухну — я рухну на них.

Я не могу оставаться непричастным. Или я покорюсь, или отвечу ударом, и я кидаю шар головы, шар силы, с размаху поражаю им то, что приказывало мне прекратиться, и не понимаю, что происходит. Войны больше нет, нет сопротивленья.

Я — пустая рука, я рад, и я знаю, чья она. Я поднимаюсь в высоту, которой никогда не знал, и вытираю слезу с бесконечного лица.

Сказка о великане

Да, в тот день улетали дети. В одиннадцатый свой день рождения дети улетают на воздушном шаре, чтобы встретить судьбу. Матери могут проводить их.

Вот и шла я по дороге с золотым воздушным шариком в руке, и думала об этой странной паре — воздушный шар и воздушный шар — а больше ни о чём думать не получалось. Матери обгоняли меня и смеялись: ты чего? зачем ей шар на шаре? куда? Я уж и сама не знала, зачем, куда, от золотого шара кругами расходились солнечные зайчики.

Матери столпились на дороге, они кричали, я подбежала к ним, и они показали вперёд, на великана.

Огромный, почти без ног, почти без головы человек шёл по дороге, рвал деревья. Когда он дойдёт до шара, он растопчет детей, они же не взлетят, пока ждут, они хотят попрощаться.

Мы побежали за великаном, задыхались, хотели вспомнить нужное слово, остановить его, заколдовать. Нужного слова не было, потому что дело не в слове — в количестве силы. Как воду, плескали мы свою силу в спину великану, на серой рубашке появилось мокрое пятно, но он не останавливался. Женщины стали отставать, и я ударила его в спину из последних и уж явно не своих сил. Волна пришла сквозь меня и накрыла его. Он остановился, а я повалилась на обочину. Одно из деревьев, вырванных с корнем, золотой шар в бесцветном небе.

Когда я очнулась, матери смотрели на меня. С ними был мальчик лет семи. — Где великан? — Вот он. Мы хотели его убить, но он не умирал. С каждым ударом он становился меньше. Мы всё с него сняли, теперь можно убивать, но мы не можем. Забери его, поменяй ему судьбу.

Они убежали к шару, хотели успеть проститься. А мы с великаном пошли по дороге обратно.

Мальчик не разговаривал со мной, не смотрел никуда, и если бы он не откликнулся, судьбы для него не нашлось бы. Он что-то бормотал, и когда я нагнулась к нему, чтобы расслышать, он был так далеко, что даже не отстранился. «Если бы война, да не было войны, если бы зима, да не было зимы, если бы чума, да не было чумы, если бы сестра, да не было сестры, если бы земля, да не было земли…» — такой была его бесконечная песня. — Да, ты стал великаном от великой пустоты. Это она сделала тебя таким огромным.

Я привела его домой. Мы пересмотрели все книжки и мультики, послушали все песни, но он ни на что не ответил. Он не чувствовал ни голода, ни жажды, ни жизни. Мы стали слушать последнюю песню на диске, вот тут-то мне и повезло. «Если что-то я забуду, вряд ли звёзды примут нас». Это он услышал. — Что, тоже хотел стать космонавтом? Хорошо. Сейчас попробуем. Я даже не ожидала, что он вот так сразу заговорит, а он запрыгал, заулыбался: — Полечу? Прямо сейчас полечу?

Ох. Ну почему я должна объяснять ему такие вещи? Что я могу ему объяснить?

— Не полетишь. Я тебе про «полетишь» вообще ничего сказать не могу. Я не знаю. Но вот представь себе человека. Он вышел во двор, двор пустой. Он сидит один. А потом к нему подошёл человек, сел рядом, и пустота заполнилась. Вот это судьба пришла. А через десять лет он станет убийцей, вором, наркоманом. Понятно? Да мне тоже не очень. Вот ты сидел во дворе, а никто не пришёл, и пустота так раздула тебя изнутри, что ты стал великаном. Если бы сейчас ты мне не ответил, к тебе пришёл бы этот, и это ты бы стал убийцей. А теперь к тебе придёт другой. Вот и всё. Я больше ничего не могу. Посиди со мной ещё немножко.

Мы вышли во двор, он играл возле сарая, а я села к стенке, закрыла глаза и стала что-то делать, сама не знаю что. Я в первый раз меняла судьбу ребёнку и, думаю, в последний. Как будто вяжешь с закрытыми глазами. Или рисуешь. Или просто идёшь.

Глаза нельзя было открывать, пока дело не кончится, но мне всё время хотелось посмотреть закрытыми глазами вбок, вверх, вправо. Вдруг увижу воздушный шар. Или хотя бы тень воздушного шара.

Мелания (сказка про чёрную кровь)

Её ни о чём не спрашивали, и это было хорошо.

Если бы её спросили — «Кто ты?», ответ удивил бы любого. — Я Мелания, сирота, мне один год. Она точно знала, что она сирота, что ей один год, но поверить этому было нельзя, потому что ей было намного больше, и у неё была мама, нелепая и порывистая, как полустёртый восклицательный знак.

Мелания родилась на окраине в конце неизвестно какой войны, и с самого начала знала, что она сирота. Однако был у неё и отец, она даже видела его иногда. Она умела видеть чёрно-белые картинки, она назвала бы их фотографиями, если бы ей кто-нибудь подсказал это слово — неснятыми фотографиями, которые ей показывал невидимый и неизвестный аппарат. Высокий, кудрявый исхудавший отец приходил к Мелании и неподвижно стоял на внутренней поверхности лба пятном-картинкой, от которой шёл солнечный свет и казалось, что она вот-вот вздрогнет.

Что-то не сходилось. Соседки смотрели на Меланию косо, шептались, а иногда отводили её в сторонку поговорить и объясняли: что-то не сходится. Мы не знаем, не понимаем, как случилось, откуда ты здесь. Нет, не сходится. Он и жил-то у неё всего неделю, кормила она, лечила его. Что-то тут не так. Да она даже беременная не была… а может, была? Что было, кто знает?

Мелании было всё равно, она смотрела никому не видные картинки и ждала, что отец рассмеётся. Он никогда не встречался с ней глазами, всегда глядел чуточку вверх, в пустое место над её головой.

Никто не спрашивал у Мелании, какого цвета её кровь, и это тоже было хорошо. Ей пришлось бы сказать тогда — чёрная. Она знала, что кровь у неё чёрная и что это её чёрная, медленная-медленная кровь показывает ей картинки. Иногда она рассказывала об этом своей неловкой и пугливой маме, говорила про улыбки отца, волосы, глаза, худую шею, мама плакала, виновато отворачиваясь.

Мелания ничего не сказала, когда одна соседка стала объяснять ей, как всё было. «Ты на мамочку свою не сердись никогда, детка. Ты её не обижай. Она у тебя… да она у тебя святая, мать-то твоя, понимаешь?» Мелания молча наблюдала, как соседка говорит: ты ей даже не родная. Замужем она не была никогда, кто б её взял, да и война. Что отец твой у неё жил, это ничего — комнату снимал. Он здесь другую женщину любил — её как тебя звали. Тоже Мелания была. Вот она, видать, тебя и родила — так получается, а? Кому ещё-то? По всем приметам выходит, она, та самая. А эта взяла и ростит, потому что его ребёнок, значится, потому что ты от него. Чужую тебя ростит, от чужой.

«Ростит, ростит», — слушала Мелания и ни о чём не думала, ничего не знала. Это и был последний день её незнания, последний день покоя.

А когда следующий день потемнел и стал вечером, она в первый раз встретила колдунью.

День был неудачный, у мамы всё ломалось, всё падало, а вечером она сказала: пойдём посмотрим на озеро, идти недалеко. Никто не ходил вечером, боялись лунных змей — они оживали при свете луны и кишели под ногами. Ничего, сказала мама, если мы пройдём по тропинке танцуя — ни одна змея не тронет. Зато увидим озеро при луне.

Когда они дошли до обрыва и посмотрели вперёд и вниз, Мелании показалось, что они уже на луне, шли-шли и пришли. Перед ними открывался серебряный кратер горы. Деревья были чёрными. Озеро внизу, в стороне, было видно очень хорошо. Никто не ходит ночью, подумала Мелания. Никто, кроме нас, не смог бы танцевать в лунном свете.

Вдруг огромное дерево, дерево на полнеба, рухнуло и покатилось по противоположному склону горы, скручиваясь и извиваясь. Свет луны стал ярче, и тогда Мелания увидела колдунью. Сначала ей было смешно, потому что колдунья походила на арлекина, она была далеко и говорила непонятно, не останавливаясь. Она шла вниз. Мелания думала, что колдунья их не видит — «как в кино», сказала бы она, если бы кто-нибудь подсказал, но мама затряслась, начала крестить смешную фигурку с длинными рукавами через воздух, говорить молитву. Маме было очень страшно.

Колдунья прошла наискосок и спустилась к озеру. Она была чёрно-белая.

Когда Мелания поняла, что колдунья у неё в крови — там же, где папа — она тоже испугалась. Она уже знала — колдунью зовут так же, как её, и когда мама назовёт её по имени, та тоже откликнется, а может быть, и раньше откликалась.

Колдунья пришла к озеру. Можно было и не смотреть, во что она превращается, и Мелания старалась не смотреть, но всё равно видела и слышала, и не понимала, не могла допустить, не позволяла себе понять.

Лебедь был огромный, и он видел её оттуда. Мелания сделала шаг вперёд и свалилась в обрыв, но встала, развернулась, стала карабкаться на тропинку. И тут лебедь заговорил. Голос был настолько близко, ясная луна этого голоса так была холодна и знакома, что Мелания застыла, заледенела. Колдунья звала её.

— Мелания? Мелания, здравствуй. Как ты выросла. Я ждала тебя.

Девочка закрыла глаза, потом зажала их руками, но не могла не видеть озера — чёрная кровь уже проявила и отпечатала его навеки. В лунном свете, спиной к огромному лебедю, спиной к женскому голосу она и замерла.

— Кто я? Мелания, сирота, мне один год. Нет, кто я? Кто я такая?

Ответа не было.

Мелания знала теперь, что она должна каждый вечер ходить на озеро, смотреть на него с высоты, слушать голос, всё лучше понимать его, а потом наконец спуститься и что-нибудь сделать. «Это война, конец войны», — подсказывала память. «Ты будешь сражаться», — говорило сердце. — «Я тебя ждала, приходи ко мне», — сияла чёрная кровь, пела чёрная кровь.

А она так и стояла с закрытыми глазами и знала — придёт время, она спустится и сделает так, чтобы этот дым, похожий на лебедя, поднялся с озера в небо и больше не вернулся, чтоб даже имя его забылось.

Чтоб имя её забылось, имя её сбылось.

Принц Авель

Была весна, но темнело по-прежнему рано. Где-то в троллейбусе принц Авель опустил руку в карман и пожал плечами. Там лежал непонятный предмет. Плеер, что ли? Авель достал серебристую коробочку и убедился, что она не открывается. Ар-ай — прочёл бессмысленные буквы на боку. Что за арай? Потряс, потрогал, положил обратно в карман, и забыл бы — и забыл, но ненадолго. Что-то случилось. Принц Авель вдруг стал глубоко дышать, успокоился, развеселился, почувствовал себя колдуном, королём, полубогом — двери троллейбуса раскрылись в синие сумерки, и он вышел на площадь, где всеми цветами света сияли небеса и фонари-фонтаны.

Это был лучший вечер в жизни Авеля. Самые красивые девушки танцевали с ним, прохожие улыбались и дарили подарки, некоторые даже выворачивали карманы и просили — возьмите что-нибудь, умоляю, прекрасный принц, хоть что-нибудь возьмите у меня. А ведь раньше никому и в голову не приходило, что он принц, а может даже, что он вообще хоть кто-то.

И всё шло само собой до полуночи, а там лысый человек с парализованной половиной лица сел на парапет рядом с принцем:

— Принц, у меня ничего нет, кроме двух бутылок пива, прошу Вас, будьте ко мне добры, примите одну из них.

Он так мрачно, печально это говорил, что Авель встал и пошёл по набережной, надеясь отделаться от незнакомца, но тот всё шёл и шёл следом, упрашивал, и в конце концов они снова сели рядом на парапет. Авель зачем-то стал рассказывать лысому, какой странный и смешной сегодня был день, как он нашёл в кармане «арай», как хорошо было ему на площади, как его приветствовали и преследовали. Обращённая к нему половина лица исказилась от ненависти:

— Что ж Вы, принц, не знаете, что такое арай? Уберите немедленно, мне не показывайте, никому никогда не показывайте! Я бы убил Вас сейчас, если бы он на меня не действовал. Арай внушает каждому двенадцатому человеку на вашем пути преданность вам. Какая дрянь, какая мерзость! Ведь это не мало — каждый двенадцатый, это намного больше, чем возможно!

Он ударил камень и убежал, оставив принцу Авелю обе никчёмных бутылки.

Принц спрятал арай. Он его хорошо спрятал, потому что боялся потерять. Он был счастлив каждый день, каждый вечер, каждую ночь. Любое место, любое время были для него одинаковы. В присутствии двенадцатых никто не мог бы причинить ему зла. Иногда просыпалось любопытство — кто на этот раз попадёт под действие арая, каким он будет, что сделает, что принесёт в дар. Но люди не очень отличаются, и любопытство становилось всё слабее. Зато он начал мечтать.

Авель знал, что в городе спрятана принцесса. Так же, как он, живёт незаметно, ходит по улицам, покупает хлеб, смотрит в окно трамвая. «Если мы встретимся? Если встретимся, она будет двенадцатой, она меня полюбит».

Но принцесса была спрятана надёжно. Ни десятой, ни двенадцатой она ни разу не прошла мимо. Однажды на остановке к Авелю протолкалась девушка в пушистой кофте, позвала на прогулку. У этой двенадцатой было странное имя — Буря.

— Разве так называют людей? Буря, Весна, Синица? — рассеянно улыбался Авель, она ему что-то говорила, дорога шла вверх и вниз, на деревья больно было смотреть из-за солнца. У Бури были волнистые волосы, смешные уши, некрасивый нос, но когда они стояли на горе, а внизу бежали лошади, Авелю показалось, что он не может уйти, и он взял её за руку.

Он и сам не понял, как так получилось, что они стали жить вместе и даже родили ребёнка. Запоздавшая рассеянность всё-таки пришла спасти его. Уже через год он знал, что Буря готовит не в его вкусе, что у неё плохой характер, что ребёнок всё время плачет, а она от этого злится. Когда они ехали куда-то вместе, он отворачивался к окну и морщился: что это, что это всё значит, что она там себе думает? Буря смотрела в другую сторону и молчала, и постепенно Авель переставал морщиться и начинал улыбаться. Он всё думал о принцессе.

Ребёнок учился ходить. Буря как всегда молчала, и глаза у неё были глупые. Авель каждую ночь бродил по городу, искал принцессу или лысого человека с парализованным лицом. Он был уверен, что лысый знает, где её искать. Но поиски оказались лишними.

Как-то в соседней булочной Авель услышал:

— Ну эта, с нашего двора, принцесса.

У него забилось сердце и задрожали руки.

— Где она? Скажите, как её узнать?

Над ним хохотала вся булочная:

— Как ты, друг, не в курсе? Это прыгающая принцесса. Ты сразу её узнаешь. Зайди за дом, подожди во дворе. Как увидишь — что-то скачет, это и есть твоя принцесса.

Авель не смог сразу зайти за угол и встретить её. Полдня носился по городу, собрал огромную свиту двенадцатых, пришёл во двор и в горячке, в лихорадке сел на скамейке ждать её день, два, неделю, сколько нужно. Свита сидела на ограде, на детской горке, некоторые девушки истерически плакали, их хотелось ударить. Авель дрожал от ветра, от счастья, от слабости и многодневной усталости. Он закрыл глаза и как наяву увидел: вот они прыгают, широкими шагами бегут над землёй, летят вдвоём над реками и лесами. Прекрасная, прекрасная.

Принцессе было за тридцать. Опухшее жёлтое лицо, спутанные волосы, грубый голос — впечатление было тяжёлое, но главное — она действительно прыгала. Она разбивала себе голову о потолок, о крышу трамвая, иногда падала в обморок и долго потом приходила в себя. Авель сколько угодно мог гладить ей по плечам и спине — по голове было больно — легче от этого никому не становилось. Он ходил с ней за город на прогулки, читал ей, водил к врачу. А когда она спросила: «Принц, ты на мне женишься?», он сказал «нет» и ещё раз повторил «нет, нет». Принцесса бросилась на него с кулаками, нелепо подпрыгнула, упала, подвернула ногу. Свита закрыла её в подвале.

Авель не мог её видеть. Принцесса целую неделю сидела в подвале. Она больше не прыгала, она выцарапывала на стенке надпись: «Отсюда — пропуск — увели на казнь прыгающую принцессу предатели и палачи кровавого Авеля». Пустое место она оставила в надежде успеть и написать число и время, когда за ней придут. Вообще-то это было нечестно с её стороны, потому что она знала, что казни не будет, что её не может быть, и ждала освобожденья как подарка.

Авель отправил её в далёкое путешествие — посмотреть на тёплое море. Когда они прощались во дворе у детской горки, он не знал, что у него пропала небольшая коробочка, которую он миллион лет назад прятал так, чтобы никто не нашёл, да и сам забыл куда. А принцесса не почувствовала, как лысый стражник с неприятным кривым лицом, выводя её из подвала, что-то опустил ей в карман. Принцесса не знала, что такое арай, но ей уже казалось, что где-то её ждёт радость.

Оказывается, наступила осень. Свита исчезла сразу. Авель перешёл совершенно пустую улицу и вошёл в свой двор. Дети играли в песочнице. В тёмных очках, с журналом, на скамейке сидела Буря. Он подошёл, чувствуя себя второстепенным персонажем голливудского фильма, спросил, как дела.

— А у тебя?

— Принцесса сегодня уехала.

— Мне кажется, тебе из чести нужно на ней жениться.

— А мне кажется, что из чести мне нужно жениться на тебе.

Буря сняла очки и положила на скамейку между собой и Авелем. Глаза у неё по-прежнему были глупые.

— Твоим родителям было тяжело. Моим родителям было тяжело. Их родителям тоже было тяжело. Зачем это продолжать?

Принц Авель посмотрел направо и в небо. Налево он посмотреть не мог, потому что там сидела Буря. Небо почему-то было в звёздах. И на этих ли дневных звёздах было что-то написано или украденный арай подсказал ему напоследок, но он вдруг брякнул:

— А знаешь, что мой отец говорил?

Боже мой, какой отец, какой, к чёртовой матери, отец? — но эта мысль сразу пропала, и Авель, уже смеясь абсурдной неожиданности своей выдумки, продолжал:

— Он говорил так: «Тяжело? Значит, это семья».

Поняла она или нет, но она улыбнулась.

Екатерина Горлина

Елена Сунцова

сны

На мосту

Конец марта, улицы только что оголились, город ещё не ожил, ранний вечер, пыльно-зелёный холодный свет. Я почти бегу по Фонтанке, со стороны Шереметьевского дворца, стремясь успеть на свидание, пережитое мной — когда я, сдерживая дыхание, ступаю на сухие розовые плиты Аничкова моста так, словно спускаюсь сверху, я вижу другого, а не того, с кем действительно встретилась той весной.

Мы ещё незнакомы. Я, зная будущее, стою перед ним, молчу, заглядываю в глаза — мельком глянул, не узнаёт, повернулся к воде, взялся рукой за чугун ограды. Так мы стоим на мосту, почти рядом, до темноты, смотрим на воду — я спокойно, он напряжённо, почти с отчаянием.

Не дождавшись, он отворачивается от лоснящейся внизу воды, качнувшись, рывком отталкивается от гранитной тумбы и делает несколько шагов по Невскому в направлении Караванной, какое-то время оставаясь в поле моего зрения.

Игра в Бисерть

Я подошёл к зеркалу и увидел коротенькие прядки ярко-рыжих волос, серо-зелёные холодноватые глаза, полные губы, замшевые ямочки на щеках с тем оттенком кожи, когда она, кажется, светится изнутри. Это почти детское очаровательное лицо стало моим в зеркале. Я потянулся дотронуться, не веря, и сразу услышал визгливый голос соседки, от которого обычно и просыпался.

Игорь потрогал толстенький пластырь на подбородке: Ира всё-таки позвонила, сдержанно посоветовала приложить на ночь столетник. Как он смешно упал — выходил из подъезда, споткнулся, скатился по лестнице, царапая о бетон лицо и руки. Какое-то время Игорь, поджав ноги, лежал на боку, стараясь не испачкать одежду кровью из ссадин. Ему очень нравилось так лежать, это серое небо и тёплый воздух. Сумка валялась рядом, ему захотелось подтянуть её к себе и подложить под голову, как подушку. Откуда-то сверху орали мальчишки, и Игорю стало стыдно — разлёгся тут, словно бомж. Он вполз обратно в подъезд, вернулся в пустую — Ира с Ренатой уехали к тёще — квартиру и никуда не пошёл. Позвонил на студию, наврал, что заболела дочка. Игорю посочувствовали. Потом позвонил Саше, достал пузырёк с зелёнкой и смазал ссадины.

В ожидании Саши он сел на ковёр, настроил проигрыватель с единственной колонкой и начал ставить пластинки. У него сохранилось много советских пластинок с инсценировками для детей — «Али-Баба и сорок разбойников», «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями», «Алиса в стране чудес», «Ухти-Тухти». У Игоря в детстве была Ухти-Тухти — мягкая синтетическая ежиха жёлтого цвета, размером с большую куклу. О том, что она именно Ухти-Тухти, было написано на этикетке рядом с ценой, ГОСТом и адресом фабрики-изготовителя.

Игорь слушал пластинки, смотрел на секундную стрелку и думал с какой-то испуганной радостью: зачем Саше я? Тихоня-авантюрист, в неполные тридцать играющий в Ухти-Тухти и воспринимающий собственного ребёнка на уровне созерцания? Про уровень созерцания бросила как-то Ира, и он поймал на лету и это.

Вспомнился Сашин рассказ про Бисерть, маленький городишко, куда ему очень хотелось поехать с недавних пор. В этой Бисерти творилось необычайное: на деревьях лежали медведицы, оберегая свою малину, бабушка разговаривала с курицей, посадив её на колени, дед вмазывался маками с огорода и набивал Беломор тем, чем его полагается набивать. А главное был очень старый, завещанный Саше дом серого грифельного цвета, вызывавший ужас: умершая там прабабка являлась Саше, бормоча и постукивая о стены. Прабабку потом видел и Сашин папа, не слишком-то впечатлительный автотехник.

Игорь так и уснул на ковре, и ему приснилось, что он превратился в Сашу. В ванной, отклеивая пластырь со ссохшимся столетником, он видел в реальном зеркале пепельные вьющиеся волосы, желтовато-карие глаза, как у бассет-хаунда или Веры Глаголевой — уголками вниз, однодневную щетину. Он поводил рукой по отражению, улыбнулся, вернее, скривился от боли, выбросил пластырь и вышел из ванной, услышав звонок в дверь.

ТРИ ПОЛОВИНЫ СНА

Две первые

1

Три голубя на ветреном полу,
на медленном асфальте и на плитах,
из лужи кошка воду пьёт в аду,
и рыжая огромная собака,
иду-иду, иду, в бреду беду
и плаваю, руками спотыкаясь,
и падаю в летающем углу,
не просыпаясь.

2

Темнеет в сердце, сон, ведущий
ложь, как осколок, так светло,
ты в щёку стукнувшийся шмель,
вмурованные в город камни,
душа, изъеденная злом,
потери, головы желаний,
дари, холодная река,
был белым, молодым, склонённым.

Две вторые

1

Который день живет во сне
и сну последовать не может,
оглядывается на свет
и возвращается на ложе,

решив напомнить о себе
ворсистым набережной камнем —
так, уподоблена ходьбе,
его касается река и

не называется Москва,
и ты её не называешь,
не может быть, что ты сама
упорных губ не разжимаешь,

обожествлению верна,
не находящая в испуге
прореху в изгороди сна,
как ищут скованные руки.

2

Моей охвачена тоской,
холодная приходит осень,
как острый вкус вина, покой
разламывается на восемь

частей: оставленность, печаль,
любовь, отчаяние, скуку,
тоску, тоску, тоску — прощай,
и ты мою сжимаешь руку,

как долго мне ещё бывать
одной под влажным небом русским,
на долгой лестнице сдувать
с перил прикосновенья музы,

не смея выговорить: сон,
что нам запомнился и сбылся,
лежит в пыли, довоплощён
девятой долей — словом-мыслью.

Две трети

1

Мы с тобою воздух врозь,
точно сорванную гроздь,
превращённую в вино,
пьём до дна и видим дно.

Как ладонная дуга,
по нему течёт река,
а в разжавшуюся кисть
сон ложится, словно лист.

2

Не голова над головой,
а щёчка правая луны,
мы возвращаемся домой
из гор зелёных глубины.

Закат ласкает воздух сном,
и солнце тихое ему,
прощаясь, говорит: потом,
теперь — остаться одному.

Федор Сваровский

Екатерина Завершнева

Огненный дракон

В полупустом поезде, едем на север.

Проводница заперлась в своем купе, воды нет, света нет. Впереди трудная ночь. Мы не спим уже третьи сутки и вряд ли уснем.

В вагоне еще три пассажира — женщина с ребенком и военный. Тимур отдал им наши одеяла. Не нужно, сказал он, не благодарите, они нам не понадобятся. Через час выходить, если двери откроют, конечно.

Мы решили сойти наугад в безымянном городке, разыскать какой-нибудь угол, запереться на ключ, опустить шторы, забраться под одеяло с головой и больше на улицу не выходить. Это была моя просьба. Тимур поначалу пытался меня переубедить. Расстояния имеют значение для нас, но не для него. Дома или в гостинице, в поезде или в переулке — это может произойти везде, в любой момент. Вот и прекрасно, ответила я. Если все равно, уехать или остаться, я выбираю уехать. Тимур не нашел, что возразить или пожалел меня, понимая, что я слишком испугана, чтобы сидеть на месте и ждать, пока за нами придут.

Стемнело, поезд движется без остановок. Я слушаю, Тимур говорит.

Он заострен как стрела, собран и даже воодушевлен. Его слова, обращенные ко мне, предназначены кому-то другому, я это чувствую. Чем ближе развязка, тем больше в нем мужества, хотя мне кажется, что его разговорчивость тоже признак борьбы со страхом (или он старается ради меня?). Я малодушно тяну время, в надежде на чудо, других надежд не осталось. Из моей нерешительности создаются дни и часы, и вот уже несколько дней мы живем ниже нулевой отметки, но ведь живем. Угроза как море, которое, конечно же, поглотит нас, уничтожит, смоет с лица земли, но я с не меньшим, чем у Тимура, упрямством, занимаюсь строительством заграждений, ремонтирую плотины, отвоевываю у неизбежного то пространство, в котором еще может возникнуть разрыв причинно-следственных цепей. В конце концов, нельзя исключить даже того, что дракон попросту издохнет, говорю я. Тимур смотрит на меня скептически. На нашем месте я бы не рассчитывал. Примерно семь тысяч лет (а по другим данным и того больше) он здесь хозяйничает и прекрасно себя чувствует. Его аппетиты только растут, а это признак доброго здоровья. Как говорится, не дождетесь. Давай лучше поговорим о главном.

Вот так сразу?

Конечно. Обо все прочем нет ни смысла, ни времени.

***

Кружится голова, кожа горит, словно обветренная, немного дрожат руки. Сколько человек может бодрствовать, сохраняя ясный рассудок? Тимур утверждает, что семь дней, дальше начинаются необратимые изменения. Поспи немного, говорит он, а я побуду рядом. Нет-нет, отвечаю я, ты же знаешь, достаточно сдаться одному из нас — и все кончено. Мы — сообщающиеся сосуды, сон вольется в твое ухо как яд, если я усну.

Мы получили метку в понедельник вечером. Вошли в дом и сразу поняли, что наступил наш черед. Дверь распахнута, окна открыты, кресло развернуто спиной к свету, темный силуэт на фоне оконного проема,

я успела заметить только руку с длинными жилистыми пальцами и плащ, сброшенный на пол. Тимур вытолкнул меня на лестницу. Пойдем отсюда. Я знаю, где можно переночевать.

Несколько театрально, ты не находишь? Не думала, что они тоже интересуются спецэффектами.

Спецэффекты их основная деятельность, дурочка.

Это он? Собственной персоной?

Не знаю. Может быть, кто-то из его подручных. Если бы ты заговорила с ним, начался бы отсчет времени, а так ... Посмотрим, насколько нас хватит.

Мы вышли на улицу, сели в трамвай и доехали до складов на окраине города. Здесь живет один мой хороший знакомый, сторож. Сегодня у него выходной и мы этим воспользуемся. Пойди, загляни в окошко — если Сашка тут, нам придется поискать другое место. Не надо впутывать ни в чем не повинного человека.

А мы-то чем провинились?

Это уже другой вопрос. Скажем так — мы были счастливы. Чем не основание?

Для зависти?

Для ненависти.

В окно я увидела ярко освещенную комнату, стол, покрытый газетами, несколько ящиков и железную кровать. Никого. Тимур протянул руку к звонку и быстро отдернул ее. Черт, выругался он, здорово шарахнуло. Кто-то выдрал звонок, обычное дело. Сашка говорил — здесь неспокойно. Очень неформальные люди живут на окраине.

На месте звонка было месиво из проводов. Красные и синие змейки, связанные в узел хвостами, шевелились в бетонном гнезде.

Ты в порядке? Заходи. Сейчас затопим печку.

Тимур снял пальто и присел на корточки перед печкой. Холодная. Открыл дверцу и начал закладывать дрова, но внезапно остановился, с недоумением глядя на свои ладони. Да, я тоже заметила. Два аккуратных красных кружочка, ровно по центру. Позже мы обнаружили такие же в области сердца. Это ничего, сказал Тимур, пульс есть и ладно.

Он всегда отличался врачебным оптимизмом, потому и стал хирургом. А из меня толком ничего не вышло. Ну нет у меня склонности резать по живому. Предпочитаю консервативные методы лечения.

***

Теперь мы меченые, но дракон почему-то отпустил нас, затаился, ждет. Для Тимура это означает только отсрочку, для меня — еще один день вместе. Я хотела бы провести оставшееся время так, как будто ничего не случилось. И спокойно отойти ко сну.

Но у Тимура другие планы.

Наша поездка — ребячество и больше ничего. Тоже мне, конспираторы — сбежали затемно, оставили свет включенным, взяли билет на случайный поезд, едем куда глаза глядят. Все это, конечно, весьма романтично, но неужели ты думаешь, что от него можно убежать?

Он — имеющий уши, он всецело видит и слышит, а мы два цветных пятна, медленно перемещающихся по поверхности земли. Мы натыкаемся на границы, которые нанесены на его карту, блуждаем в его лабиринте. Мы говорим, а он открывает заслонки, ведущие в коридоры понимания или непонимания. За мной решимость, за тобой надежда; алый и золотой, смешиваясь, порождают вихри и кольца, и он видит наши мысли как табачный дым, висящий над головами. Я произношу эти слова — «ничего не бойся» — и пар выходит изо рта, а вместе с ним жизнь. Люди предсказуемы. Мы простые цветовые последовательности, поэтому раньше, чем ты почувствуешь любовь или страх,

раньше, чем сможешь отличить одно от другого,

он уже отличит,

он всегда знает, куда потечет твоя душа.

И тем не менее — пока мы вдвоем, я не боюсь. Будь что будет. Мы здесь, понимаешь? Потом — да, когда-нибудь это случится, но не теперь.

Теперь или минутой позже, не имеет значения. Он повсюду. Он заставляет тебя плакать, и жизнь удлиняется ровно настолько, насколько хватит слез. Известно также, что он не выносит смеха. Это правда. Но смех еще короче, чем плач. Смех неверное оружие, которое обязательно изменит в решающий момент. Наверное, находились смельчаки, которые смеялись ему в лицо. И что? Он вежливо ждал, пока эта естественная реакция не исчерпает себя. Дальше то же самое — дуновение или взгляд, одинаково для всех.

Мы связаны по рукам и ногам, выхода нет. Не думай, что когда придет твой час, ты будешь чем-то отличаться от других. И то, что мы любили, не станет оправданием. Я не раз говорил тебе, что любовь тянет не только вверх, но и вниз. Ты не готова проститься со мной, разве не так? У жизни сильные корни, они держат в земле.

Да, я могла бы удержать и тебя. Мои запасы слез неисчерпаемы. Я буду плакать, а ты — утешать меня, и так мы проживем долго и счастливо и умрем в один день, как у тебя там запланировано. Но пока гром не грянет, я предпочитаю не думать о том, что будет дальше.

Это твое кредо, вздохнул Тимур. И резюме нашей совместной жизни.

А что, разве было плохо?

Нет, хорошо, очень хорошо. Иначе я не смог бы легко выйти ему навстречу. Благодарность — лучший способ расставаться с прошлым.

Я хотела возмутиться, но промолчала. Благодарность! Всем спасибо, все свободны. А я, значит, сижу тут как символ прекрасного прошлого, с которым он уже мысленно распрощался. Тимур всегда стремился к сверхъестественной чистоте, к безупречной биографии. В этом, конечно, есть свои резоны. Достаточно вспомнить, как красиво умирали древние — в белом и с чашей цикуты в руке. В ванне, на эшафоте, в бою. Требовали шампанского, елки-палки. А у нас ничего этого нет, даже ванны. И запасы героизма весьма скромные, во всяком случае, мои.

Я вспомнила, как десять лет назад мы ехали к морю на электричках. Орава студентов-медиков, сдавших летние экзамены, набивалась в вагончик, на ходу забрасывая рюкзаки наверх, кто-то укладывался спать на деревянные скамейки, кто-то тихонько читал (находились и такие), остальные горланили песни или шумно обсуждали не что-нибудь, а сразу смысл жизни, или квантование времени, или вечную молодость, или где бы снова раздобыть еды. Если с первыми вопросами было более-менее понятно, то последний априори не имел решения, так как относился к области чистой практики, для которой не предусмотрено никаких умозрительных законов. Впрочем, в те времена даже голод воспринимался как дополнительное условие, повышающее градус жизни и остроту зрения.

На одном из перегонов, когда наступил тихий после(или вместо)обеденный час, и большинство наших товарищей спали по лавкам, мы с Тимуром и еще человек пять грелись на солнышке у открытого окна, подставляя лицо солнечному ветру, пахнущему весной, железнодорожной пылью и беляшами с мясом. Запах жареных беляшей проникал через все щели нашего сознания, ими были пропитаны стены вагонов и вокзалов, он сливался с самой идеей путешествия на юг, и мы знали, что изделия эти невкусные и неполезные, что при их изготовлении было использовано мясо неизвестных животных и нарушены все санитарные нормы, но все-таки покупали их, когда удавалось разжиться деньгами.

Последний пирожок только что был съеден, и я вертела в руках промасленную салфетку, разыскивая на ней чистые места, потому что руки помыть было негде. Это единственное, что меня не очень устраивало в путешествии на юг, но к концу третьего дня я научилась не придираться по пустякам к тому, что день грядущий нам готовит. Тимур, глядя на мои терзания, вытер руки о походные штаны. Видишь, сказал он, как все просто. Тебе тоже надо завести такие волшебные штаны, с карманами, полными чистых салфеток. Ни за что, сказала я, никогда. Лучше

смерть. Я путешествовала в юбке и очень этим гордилась. Бабушка крепко втолковала мне, что девушка всегда должна оставаться девушкой, при любых обстоятельствах. Тимур обсмеял бабушкин афоризм и посоветовал не произносить его вслух при наших товарищах, хотя юбка ему нравилась и девушка тоже.

Только я вытерла пальцы, как сидевший напротив меня Айнарс взял меня за руку — «ну что ж, посмотрим» — развернул ее ладонью вверх и стал сосредоточенно разглядывать. Что ты там ищешь, ревниво спросил Тимур, возбудителей кишечной инфекции? И вообще, почему не обратился за разрешением к вышестоящему начальству? Хватает за руку мою девушку, заглядывает ей в глаза!.. Айнарс провел указательным пальцем по линии жизни, как бы отчертил ее — видишь? она очень ровная, но, увы, не слишком длинная, а вот здесь раздваивается, получается вилка, потом устье реки, в котором теряются маленькие ручейки. Доживешь до тридцати лет, а дальше жизнь поставит тебя перед выбором, но что бы ты ни выбрала, рассеешься как облако, как стая бабочек, которые внезапно разлетелись в разные стороны.

А теперь посмотрим на лапу этого питекантропа, Айнарс повернулся к Тимуру. Тот настолько опешил, что даже не сопротивлялся и сам подал ему руку. Нет, не эту, другую. Голубчики, да вы просто созданы друг для друга. Вы проживете долгую по нынешним меркам жизнь, вместе состаритесь, впадете в маразм и умрете в одной постели. Поздравляю вас, и в знак любви и согласия соединяю ваши руки и сердца.

И тут Айнарс, не выдержав, захохотал, а за ним все остальные. Тимур сидел красный как рак, Айнарс похлопал его по плечу, женись, друг, не пожалеешь (тогда для нас слово «женись» звучало анекдотически). Что это на тебя нашло, пробурчал Тимур. А я и сам не знаю, ответил Айнарс, нашло. Тимур обнял меня и еле слышно шепнул на ухо — соглашайся. Потом мы поцеловались, потом еще, потом остальные куда-то подевались, электричка неслась без остановок, солнце жарило вовсю, у меня давно обгорел нос и щеки, и саднило горло, и губы потрескались, но я не помню, чтобы когда-нибудь я чувствовала себя лучше.

Толик зевнул, потянулся, полез в карман и достал сигарету. Завидую я вам, ребята, тридцать лет!.. сказал он и ушел в тамбур курить. Мы не очень-то поняли, что он имел в виду, хотя цифра тридцать для нас была эквивалентом вечности. Помню, однако, что я ощутила нечто вроде протеста. Тогда в ходу были теории о том, как прекрасно жить быстро и умереть молодым, но мне хотелось увидеть нас в старости, весенним днем, обнявшихся под старым деревом, на скамеечке — и с жареным пирожком на двоих. Я задумалась о том, хотела бы я пережить Тимура. Это был сложный вопрос, так как умереть *после него* значило избавить его от необходимость жить *после меня*, но сколько бы я продержалась, и можно ли было назвать это жизнью? Я окончательно запуталась в совершенном будущем времени и переключилась на настоящее. Тимур уснул на моем плече, и его голова все время падала вниз. Я подвинулась и уложила его к себе на колени. Тимур улыбнулся мне, не просыпаясь. Тридцать лет это много, если каждый день будет таким, как сегодня.

***

Ты задремала, сказал Тимур. Я решил тебя не трогать.

Не знаю, мне казалось, что я просто вспоминаю то самое прошлое, с которым ты уже распрощался.

Удивительно, почему он не воспользовался случаем.

Может, забыл?

Э, нет. У него все ходы записаны. И вообще, это мы с тобой помним, а потому можем забыть, а он просто знает.

Как тихо.

Остановка. Вот уже пятнадцать минут стоим.

Хочешь выйти?

Отчего бы и нет.

Тогда хватай сумку и пошли. Там открыто.

***

До утра мы слонялись по улицам. Город наполовину состоял из заколоченных домов и нежилых тупиков. Далековато от столицы, сказал Тимур, налицо проблемы периферического кровообращения. Еще немного и начнется гангрена, к гадалке не ходи. И как назло ни одного ночного магазина. Будем искать теплый подъезд?

Теплого и тем более чистого подъезда не нашлось. Мелкий дождь со снегом загнал нас под крышу автобусной остановки, где мы попытались устроиться на скамейке, но от холода клонило в сон. Надо было как-то двигаться и мы пошли дальше. Через пару часов вернулись на остановку. Там хотя бы можно было спрятаться от ветра.

К шести утра появились люди. Завидев нас, они сворачивали в переулки, или огибали нас как зачумленных, не отвечая на вопросы. К восьми окончательно рассвело, открылись булочные, и мы купили последний в своей жизни хлеб. По лицу Тимура я поняла, что он подумал ровно то же самое, про хлеб. Однако все происходящее доставляло нам радость, как будто мы впервые бродим по улицам, отщипываем кусочки от теплого румяного батона, кормим голубей, и вообще недавно познакомились.

У подземного перехода нас окликнула бабка с ведром соленых огурцов. Рановато для закуски, пошутил Тимур. Возьмите, отдам за полцены. Дождь стекал по сломанным спицам зонтика прямо в рассол. Мы бы рады, да денег нет, честно. Вот, на последние купили. Ну тогда возьмите так, сказала она, и достала из кармана кулек, авось не убудет. Ее пальцы в синих перчатках-митенках занырнули в ведро, огурцы были крупные, дряблые, из пакета капало, она долго пыталась завязать его, но ничего не получилось, и пришлось доставать второй пакет, а он оказался дырявый и так далее. Пока мы наблюдали за этой сценой, смешливое настроение улетучилось, и мы оказались на грязной улице, вымокшие с головы до ног, голодные и очень грустные.

С надкусанным батоном и кульком соленых огурцов мы остановились перед вывеской «Последний приют». Ничего себе, название для гостиницы, хмыкнул Тимур. Похоже, нам сюда. Я бы не отказался от чашки горячего бульона. Гостиницы хороши тем, что за все можно платить после. А нам это не грозит.

За стойкой стоял малоприятного вида мужчина, который дотошно сверил наши физиономии с фотографиями в паспортах, потом долго вертел в руках свидетельство о браке и, в конце концов, оставил все документы у себя. Мы получили расписку и поднялись наверх. Тимур запер дверь на ключ. Хочешь, выброшу его в окно? Не хочешь? Давай оставим в двери, и тогда они не смогут открыть ее снаружи. Хотя мне показалось, что здесь мало интересуются постояльцами. И бульона у них нет, это очевидно.

***

Вот и закончился еще один день. Пакет с огурцами, нетронутый, стоит на столе, хлеб съеден. Два часа назад нам обещали чай — хорошо, если к утру принесут. Одеяло только одно, но зато очень теплое и плотное, как валенок. Тимур уговаривает меня сдаться, то есть проявить мужество.

— Мы должны выйти на него лицом к лицу. Иначе он поймает нас в слабости, во сне, в гневе. В нашем молчании будут паузы, от пустоты, от усталости, и он заполнит их по своему усмотрению. Остается только одно. Когда пожар невозможно залить огнем, его гасят направленным взрывом. Огонь пожирает огонь.

— Не хочу никого пожирать. У тебя какой-то террористический лексикон. И потом, даже если я сердита на тебя, или устала, это волнение на поверхности. На глубине в это время ничего не происходит. И чем старше я становлюсь, тем меньше внешних признаков аффекта. Исчезает волнение, воодушевление, подъем; может показаться, что чувства отмирают, хиреют, однако это не так. Чувства уходят на дно, становятся невидимыми. Ему не достать.

— Ах, оставь свои психологические изыскания. Сейчас, когда мы сидим тут и воображаем, что скрылись от него, можно говорить о чем угодно. Но в последний миг слова и даже молчание не будут стоить ничего.

— Почему для тебя так важен последний миг? Ведь была целая жизнь. Зачеркнув из нее хотя бы один день, ты зачеркнешь и его тоже.

— Бывают выделенные мгновенья, которые больше, чем целая жизнь.

— Представляю, как ты сидишь с красным карандашом над книгой своей жизни и правишь ее. Здесь хорошо, здесь не очень. Все-таки не нам решать.

— А кому же? Если ты сама не знаешь, что было хорошо, то кто может знать?

— Ладно, если ты так уверен... Но неужели прямо сейчас? Почему нельзя подождать немного? Давай твердо решим и забудем об этом хотя бы на один день. Пока нас не требуют к барьеру, а?

— Твердо решим... Наша твердость подобна твердости воска, который расплавится от одного его присутствия. Сами того не замечая, мы уже принимаем

нужную ему форму. Разговоры, перебежки… Боль и страх делают нас марионетками — боль создает контуры тела, страх движет им. Вот почему нам нужно сгореть дотла.

Не бойся, это произойдет очень быстро. Мы должны быть смелыми. Только наша решимость идти до конца вызовет у него ярость, и тогда он спалит нас своим дыханием, уничтожит в одно мгновение, и это единственный выход.

— Выход куда?

— Ты же знаешь. В свет.

— Как смешно звучит — выход в свет.

— Опять посторонние ассоциации. Они питают тебя, как крошечные корешки, но чем больше в душе воды, тем труднее будет, пойми.

— Какой ты строгий. И ты прав — я боюсь. Я не готова. Сопротивление не кажется мне таким уж бессмысленным.

— Да пойми ты наконец!.. Превратиться в свет, в тепло, исчезнуть — по-другому его не победить. Сгорит все ненужное, останется то, что не подвержено горению. Не хочу тебя обманывать — не уцелеет ничего, ведь мы и тело неразделимы. Отними тело — что тогда? Как ты будешь знать, что любишь, как найдешь меня, чтобы сказать об этом, и сможешь ли вообще сказать?

— Наверное, я все-таки не верю в бессмертную душу, иначе мне не было бы так обидно переселяться в мир иной. Может статься, не все души бессмертны. Твоя наверняка уцелеет, а моя нет. Ты не только храбрее меня, ты лучше. Да, я чувствую в себе недостаток веры. Или это избыток воды?

— Это обыкновенный страх. Он скоро пройдет.

— Ну хорошо. Давай попробуем. Расскажи мне для начала, как это будет, какой он.

Тимур приподнялся на локте, его глаза сверкнули в темноте, узкие, как лезвие. Наконец-то я задала нужный вопрос.

— Как нетрудно догадаться, я его ни разу не видел, иначе мы бы тут с тобой не разговаривали. Книжки, скорее всего, врут, но другого источника информации нет. Я читал, что у него много обличий — черное солнце, жар-птица, огненный ветер, чума, саранча. Великий обманщик, он использует только маски. Каждому выпадает своя, но это случайная комбинация из множества черт.

Сообщают также, что у него нет лица. Может быть, поэтому он и не различает людей, подразделяя их на мужчин и женщин — и только. В нем есть что-то механическое, как будто он был задуман как гигантская печь, топка, мясорубка, перемалывающая все без разбора. И вот еще что. По большому счету — в наших обстоятельствах и не только — геройство не спасает, но именно оно ставит точку в жизни. Смерть как таковая ее не ставит.

— Не знаю. Я все-таки не могу согласиться с этой твоей единственной точкой. И то, что ты говоришь, совсем не предполагает продолжения. Сгореть дотла мы всегда успеем. Пока есть возможность продлить жизнь, почему бы этого не сделать?

— Потому что один из нас предаст другого, хочет он того или нет.

— Ну и что? Разве ты не простил бы меня?

— Конечно, простил бы.

— Вот и я о том же. Предательство не больше любви. Ты непременно хочешь быть выше жизни, умнее ее, что ли. Более сообразительным. Чистые руки это хорошо, но земля — грязь, глина, почва — лучше стерильной чистоты.

— В тебе говорит жизнь.

— Она говорит и в тебе, только ты не даешь ей слова.

— С тех пор, как он объявил охоту на нас, мы вне жизни.

— И кто же нас лишил этого права? Неужели он?

— Я не знаю. Прости, не хотел тебя напугать. Я уверен, что мы не расстанемся там. Наоборот, освобожденные от страха, мы впервые сможем узнать друг друга. И только там станет ясно, заслужили ли мы вечность вдвоем.

— А мне и так ясно.

— Ты же сама говорила — решать не нам.

— А ты говорил — если не мы, то кто же. У меня все ходы записаны.

— Господи, как же с тобой трудно. Делаешь вид, будто не понимаешь. Скажи прямо — ты со мной или где?

— Я ужасно устала, Тим. Может, помолчим немного? Не бойся, я не усну — одеяло ужасно кусачее. И ты постоянно тянешь его на себя, ага. И у меня, кажется, началась настоящая бессонница — затяжная и вредная. Я даже есть расхотела, представляешь?

Тимур не ответил. Мне показалось, что он слегка посапывает. Если бы я теперь спросила его о чем-то, он ответил бы, не просыпаясь, уверенно и даже с возмущением, что его заподозрили в дезертирстве. Я осторожно приподняла его руку, забралась к нему и устроилась рядом. Его сердце стучало ровно, как колеса поезда, идущего на постоянной скорости и без остановок.

Буду смотреть в темноту, пока не надоест. Если мы оба уснем, это к лучшему.

***

Забарабанили в дверь. Ты слышала, чтобы кто-нибудь поднимался по лестнице? Я нет. Думаешь, принесли вчерашний чай?

Тим, давай не будем открывать, пожалуйста.

Глупости, пойду и посмотрю, что там такое.

Нет, не двигайся. Он сейчас уйдет.

Возле двери потоптались, через минуту раздался сварливый женский голос — долго мне тут околачиваться? Ваш завтрак. Мы услышали, как что-то брякнуло об пол, потом шаги и скрип половиц.

Нельзя так плохо думать о людях, расхохотался Тимур. Он вылез из-под одеяла, босиком дошел до двери, открыл ее и втянул в комнату поднос с едой. Ты только посмотри, какое великолепие! На подносе стояла щербатая тарелка с яичницей, похожей на кусок обоев, стакан холодного чая и две горбушки черного хлеба. Держу пари, что ничего вкуснее ты в своей жизни не едала.

Он продолжал упражняться в красноречии, но тут в дверь снова постучали. Тимур замолк, медленно повернул ключ в замочной скважине и на цыпочках вернулся ко мне. Вообще-то могли бы предупредить, что в этой гостинице полным-полно привидений. Ничего не поделаешь — придется привыкать. Ешь, а то остынет.

Но на этот раз не выдержала я.

— Тим, мне надоело прятаться. Теперь я понимаю, что ты был прав. Если ты знаешь, что надо делать...

— Знаю.

— Ну так давай.

— Хорошо. Надеюсь, ты согласна опустить прощальные поцелуи и объятья?

— М-мм... я бы предпочла не опускать. А что — расхолаживает?

— Будь серьезней, пожалуйста, иначе я сложу с себя обязанности главнокомандующего.

— Ладно. Хотя я что-то не припоминаю — разве я приносила присягу?

— Ну как же — в этом... как его... дворце бракосочетаний. Да убоится жена мужа своего... И в горе, и в радости, и в домашнем хозяйстве...

— Вообще-то это было не совсем так.

— Когда моя жена говорит «это было не совсем так» она на самом деле имеет в виду другое — «это было совсем не так».

— Между прочим, меня спросили первой, как старшего по званию...

— ... и ты ответила «да».

— ... и только потом тебя. И ты ляпнул... Помнишь, что ты сказал?

— Я сказал — «естественно».

— Это было глупо. Выпендриться хотел, да? К твоему сведению, многие женихи так говорят.

— Ну и пусть. Честно говоря, я был совершенно деморализован. Обстановка до крайности идиотическая — портреты вождей, бухгалтерская книга «приход-расход», тетка эта толстая, с указкой, в перманенте. Я старался соответствовать.

— А помнишь, как она ткнула нам указкой в пузо, когда мы вышли за какую-то черту, за которую не надо было выходить?

— Ага, и прошипела «назад». С дикцией у нее все в порядке, слышно было даже за дверью.

— А потом наши друзья-физики пили за резонанс, если не ошибаюсь...

— За то, чтобы тактовые частоты молодоженов сливались в один бешеный ураган. По-моему, хорошо сказано. Однако и друзья-медики не подкачали. За что они пили?

— За гормон любви серотонин и серотониновый обмен.

— Точно.

— А также за большие полушария...

— Пошляки.

— ...головного мозга, разумеется. Но лучше всех выступил мой любимый друг Петя. С трудом поднявшись из-за стола, он сказал прекрасный тост, который большинство присутствующих, к сожалению, не оценило.

— Как же, как же. «Я так давно знаю невесту, что не уверен, надо ли сегодня поздравлять жениха». Я запомнил, между прочим.

— Петя как дитя — говорит, что думает.

— И ты с ним так трогательно танцевала… обнималась в коридоре… можно подумать, это он женился, а не я.

— Танцевала?! Выносила с поля боя, ты хочешь сказать? Он же на ногах не держался, бедняга.

— Да, в том бою мы полегли как триста спартанцев под Фермопилами.

— Ну, ты хватил. Триста. От силы тридцать. А что было под Фермопилами? Ты же знаешь, я не сильна в истории.

— Да не важно. Спартанцы стали в узком месте, ни туда ни сюда, и задержали многотысячное войско персов, как сообщает Геродот. Один из защитников отлежался пьяным за ближайшей скалой и уцелел. То есть я хотел сказать — раненым. Очнувшись, он устыдился, что другие пали смертью храбрых, а он жив, и поклялся совершить много подвигов.

— И что?

— Совершил, но славы так и не стяжал. О нем говорили — этот бьется как исступленный, без чувства меры, потому что хочет смыть свой позор. Выпендривается, как ты говоришь. Когда уже твой Петя женится, скажи мне, пожалуйста? Долго еще я буду терпеть его голодные глаза на нашей кухне? Он ест моей ложкой и из моей тарелки… сидит в моем кресле… ну и так далее.

— Ничего не так далее. Дальше кресла еще ни разу не заходило. И не волнуйся, пожалуйста. Тебе больше не придется его терпеть.

— А, ну да… Выходит, нет худа без добра. Однако вернемся к Фермопилам. Смутно припоминаю, что мы были объектом, на котором каждый оттачивал свое чувство юмора.

— Чего же ты хотел? Жених и невеста все-таки.

— А потом, когда они все съели и выпили, и, главное дело, все высказали, мы с тобой поехали… Куда мы поехали?

— Домой, конечно. Завезли Петю и домой.

— Значит, этот раненый увязался за нами в свадебное путешествие?

— Напомню тебе, что вы оба мирно спали на заднем сиденье, обнявшись, как родные братья. Мы с водителем еле-еле оторвали вас друг от друга.

— С водителем? Как интересно.

— Тим, не придуривайся. Мы взяли такси.

— А потом?

— Проснулись, позавтракали тортиком и отправились на каток.

— Хорошая была свадьба.

— Замечательная.

— Однако ритуал прощания затянулся. Я так и знал, что без поцелуев не обойдется. Сейчас нам нужно встать, одеться и выйти из номера. Ты готова?

— Нет.

— Вот и прекрасно. Вставай.

Я вздохнула, села на кровати и опустила ноги на пол. Босиком я, пожалуй, не пойду, холодно. Куда подевались мои туфли?

Пола под ногами не было. Кровать стояла на льдине, по которой медленно змеилась трещина. Черная вода заливала комнату, мы уходили под лед, в полынью. Справа, крикнул Тимур, я обернулась и увидела чьи-то руки с грязными ногтями, вцепившиеся в край кровати. За ними показалась лохматая голова, потом еще одна. Бей, завопил Тимур, и я, неожиданно для самой себя, ударила по рукам, потом по лицу, но удара не почувствовала. Кровать накренилась и перевернулась как поплавок, оборванцы исчезли.

Ничего себе, охнул Тим. Это же утопленники! Видела — у одного из них бельма вместо глаз?

Еще скажи — жабры.

Он предупредил нас. Мы окружены.

Фу, какая гадость. Будем сдаваться?

Есть другие варианты? Одевайся. Пора.

Я одеваюсь, мы беремся за руки и выходим за дверь.

В коридоре никого нет.

Не думай обо мне. Просто закрой глаза, если тебе страшно.

Тимур ведет меня вверх по лестнице. Он уже ничего не говорит, и не успокаивает. Остаются считанные секунды. Я ощущаю усиливающийся жар. *Он здесь.*

Внезапно пространство перед нами распахивается, раскрывается как узорчатые крылья, золотые, пурпурные, багровые. Отражаясь в зеркалах, орнамент умножается, разбиваясь на копии, чья-то рука вращает калейдоскоп, складывая и расправляя новые и новые пары крыльев. Из мешанины полос, треугольников и квадратов выныривает змеиная голова на тонкой шее и, покачиваясь, поворачивается к нам, ищет нас. Это система наведения на живое, шепчет Тим. Прикрой сердце, ладонью. Держись, это скоро кончится.

Мои волосы вспыхивают, жар становится невыносимым. Два круглых глаза, на дне которых пульсирует, вращаясь, алая спираль, смотрят на меня в упор, без выражения, прожигая лицо насквозь. Просыпаясь, я на мгновение вспоминаю — мы не впервые оказались здесь, на лестнице. Все это уже было с нами когда-то. Умирая в огне от ужаса и от жара, умирая в своем воспоминании, превращаясь в пепел, как стая бабочек, внезапно застигнутая горячим ветром пустыни, тлеющими губами я успеваю прошептать

отвернись, это неправда
его нет
это сон

Вставай, говорит Тимур, ты проспишь все на свете.

Стоим уже пятнадцать минут.

Станция.

Павел Настин

Рафаэль Левчин

Пилоты

I

*

…но поскольку слово имеет силу
и определяет жизнь с той секунды
когда оно было произнесено
мы делаем круг над грядой камней

и видим что всё это кенотафы
а настоящие блериосент-эксылиндберги
совсемнесейчасинездесь

*

…но поскольку сила подчиняется слову
мы не упадём ни сейчас ни позже
ни в океан ни в пески ни в травы
пока нас ветер не заставит молчать

и слушать шёпот стены что тоже
стать хочет снова свободнымкамнем
вскрещеньиснаимечты

*

…но поскольку ветер слабее света
который хоть и уходит но снова
непременно возвращается и это длится
не первый час день год век эон

калиюгу да продолжайте сами
мало ли терминов ввашеммире
ветерихвсеунесет

*

…но поскольку ты знаешь полет бесконечен
с нашим участием или без оного
нас с тобой будь уверен задействуют
в ритуале полной луны

смотри летят они выше нас
слева по курсу нувидишьтам
ангелыбесывалькирии

*

…но поскольку мы смешиваем метафоры
и светом кулис насыщаемся запросто
нам не увидеть священных табличек
ни на горах ни сквозь толщу вод

ни средь армад конечных големов
мегалитическиразрастающихся
незамечаялюдей

*

…но поскольку сон не дает понимания
мы летим все ниже ниже и ниже
все меньше света крылья поддерживает
все больше глаз упирается в нас

и наше падение тем подталкивает
к хрупкости башен кзолотустен
квоспоминаниямбудущего

*

…но поскольку вода неприродна свету
и наш маршрут проложен не нами
нам не грозит пока растворение
в бесстыдстве промежуточных форм

это ничего что мы не приписаны
ни к одной из стихий ни к месту гдевыстроят
изнашихобломковхрам

II

*
кружить над засоленным водоемом
высматривая русалок
и рухнуть
добавив в него бензина

*
я совесть мира
деревянные лопасти

*
не все то с крыльями
что летает

готфрид бенн
уж какой был толковый
и то промахнулся

*
кто врач
кто пациент
кто бортрадист
кто стрелок
кто холм в снежной пустыне
отличи
попробуй

*
не бойся
я тебя не покину
но кто слопал мой спецпаек

*
безработный пилот
даёт объявление
согласен участвовать в эксперименте научном
хочет стать аксолотлем

ладно хоть не солитером

*

безработный второй пилот
видит ушедшего друга
с которым вдрызг разругался
за право руля
бывший друг весел и молод они смеются
ссора такая глупость
выпьем только чуть-чуть ты же
знаешь нам много нельзя
нам
разве я тоже проснись

*

бывший штурман
водит автобус бывает
хуже завёл себе рыбок ходит
из угла в угол повторяя
их метания
будешь водить грузовик
сказала
а ты
звездолёт

III

*

я лечу внутри точки по сжимающейся спирали
шасси моего аппарата настолько прочно
что выдерживает без повреждений удары
при весьма резких спусках
на землю

куда?

never mind

*

found poetry

мотопланер-триплан

сформирован кадровый экипаж аргонавтов
в составе двух лейтенантов и десяти рядовых
из которых четыре деда остальные салаги

*

иные слетают с храма или с высокого дома
на шёлковых крыльях

противу естества творят

*

под крылом самолёта
о чём
ни о чём
пылающий клод изерли

*

ночь улица фонарь калека
ты ль
авиатор зибердаух

*

без рифм мне скучно бес

ну что ж
легко летает дунсианский лес

*

Ричарду Баху

это был уомпирр из ттрансильвании

кто ему доверил штурвал

вероятно ваал

*

Андрею Пичахчи

у меня мотор барахлит

restart

delete

Федор Сваровский

Павел Настин

[синяя макрель]

Допивая свой кофе,
засмотревшись на косточки от маслин,
оставшиеся на столе после завтрака,
я представил себе,
как узкой тропой кухонного стола
стадо коз переходит в ущелье,
в котором мне бы хотелось уснуть
в тени лоха после полудня —
получить сообщение,
просмотреть непрочтенные сны,
ответить моим постоянным корреспондентам.
— Длинный одноэтажный дом,
рыбоконсервный завод, повсюду шестая банка
(не метафора, а по ГОСТу),
извиваются в банках
живые куски макрели,
не умирают — живут,
не теряют свой синий цвет,
непостижимо синий —
он и есть жизнь. Наша общая жизнь.
В шестых банках.
Консервированная. По ГОСТу.
— На земле, а это зимнее утро,
лежат сотни смерзшихся трупов —
соотечественники не рассчитали дозу,
перепились на государственном празднике,
смерзлись, как промысловая рыба в трюме.
Как мороженая макрель, потерявшая цвет.
...я еще не хочу умирать! —
говорил Мандельштам,
а Андропов в ответ ему: Что ты,
сам живу, под собою не чуя, прости.

[песок]

1
минуту-другую перетерпи
под другим углом
перепад давления
видно то же
но чуть иначе
и по-другому
и не ты приходишь пьяная в дым
и не я изменяю твоей памяти
с моими воспоминаниями
но мы все
все мы летим на ста шестидесяти
на побережье
подпевая тому из лазерного
что проигрывается через усилитель
остается ли снег наутро все тем же снегом
или другой его снег другим уже снегом
и не заметны морщины песчинки
как мы подпеваем не так заметно
а мы подпеваем

только не отразись нечаянно в
как мы летим на ста шестидесяти
во всем побережье нас
сразу

синий разве что если свитер
но не эта небесная стена
не ложись на холодный песок

застудишь

2
там именно такие мосты что не постоишь
от суицидов от что вероятнее повреждений
локаторов и антенн и палуб
торговых и военных судов проходящих
проходящих сквозь пластиковые экраны
выныривая из туннеля я заметил
один лестничный спуск на песчаный остров
неверную тузлу ненадежную кюршу нерунг
немецкое кубанское неравновесное платье

пошитое в турции
презираемое турками в нойальтштадте
презираемое русскими в нижнем посаде
презираемое курдами в тегеране
где беден я даже тростник заметил пятно тебя
ты был песок // ты был песок // весь в песчинках

[сердцевина мая]

Для других жильцов уже наступило послеобеденное время.
А я лишь на минуту закрыл книгу Ортеги, заложив ее пальцем,
И, пока я рассматривал тонкие голубые цветы на неподвижной бежевой шторе,
Внезапно, в один краткий миг, мне открылась человеческая суть.
Человек бесконечно тонок:
Он — мембрана
Между внешним и внутренним.
Небесные тела, облачные новостройки,
Скелеты деревьев, мои кости, сосуды, сердце,
Мозг, душа, память — не внутреннее,
Но человеческое во мне — мембрана,
Бесконечно тонкая мембрана
Между внешним и внутренним,
И они сообщаются посредством меня.
Взволнованный этим открытием,
Я вышел в коридор, выглянул в окно,
Достал сигарету и закурил, наблюдая
Как двое подростков и девочка тринадцати лет
В голубой шелковой рубашке
Перепасовывают друг другу белый волейбольный мяч,
Осторожно отражая его удар внешней стороной своих
кроссовок —
Так слаженно, с таким взаимным вниманием,
Словно именно это и выражает
Высшую из доступных нам форм любви.
И действительно, может случиться так,
Что в жизни им уже не придется испытать большей любви,
Пребыть в более совершенной гармонии,
Чем сейчас, здесь в этом несколько неуклюжем,
Но цельном танце с волейбольным мячом —
Танце, полным соучастия и подлинной взаимности.
И оказалось, что здесь меня поджидало
Окончание моей мысли о человеке:
Все мы — люди — складки,

Павел Настин

Причудливые складки,
Одной единственной бесконечно тонкой мембраны
Между внешним и внутренним.
Мы — эта складчатая мембрана — отсутствие промежутка
Между внешним и внутренним.
Между тем сигарета дотлела и погасла.
Этот была моя первая сигарета за день.
Отцветал каштан.
Начинался прохладный дождь.
Две чайки поссорились.
Я побывал в сердцевине мая.

Павел Настин

Никита Сафонов

Раздельные стихотворения

[...]

блаженные у моста
блаженные падающие

ты: видишь

как завершается день, в тени узких улиц
тело твое ожидает
находясь в промежутке

—

здесь — разгорается огненный камень — дать название
ему, в ослеплении звезд, в белизне
коридора

и обернуться волной, расходясь в стороны
тяжелым песком распространяя дыхание из события изойти

отдыхая под деревом
в блеске зноя, движимого
снизу вверх (как это приближенно к свету
похожему на настоящий)

очередные круги
очередной круг — и — снова виднеется облако

—

(как
смотришь вперед ты, в глаза
помещая то светоотсутствие)

где его можно найти, там

где его можно найти, там
ты видишь:

блаженные исчезающие

[...]

(диким уподобляясь столпам этим)

стоишь — землей не
одеревенел, сил что были — иссякнув
прорастали тебя сквозь
вымещали из себя что есть сил

и вот: по колено в ней пребывая

так теперь, сказать может ли, да и вообще
сказать можно ли
узкие корни молчат

здесь стоит этот храм
что обитанием погружен собой в
небывалую тишину

почему тишина, почему — ссыпается известь, это ли не зима; таким звуком
и в одно время с тем — ветра исчезновение

—

то холод, то просто неосязаемо
тесно и так — даже сжато

в единении холодясь, вечером
у дороги

молчат так
словно сказано, но ведь
не сказано то, что сказано не должно
сказано не должно вообще

быть

подобного, точно здесь
нет

[...]

необъятное: головы поднятые
так — видно, нащупав, сгустки
подгорая травами ранними движется
широкое

стояние полупустое

безжизненное лишь дальше

нищие тени кругов — где
их позабыть (словно ослабить взгляд)
путая первое / остальным

у рук вода поднимаясь
провисает; так и
она
дрожит — глухо в оставленном длятся безмолвия

превращенный сон, скользящее

дыхание в одночасье

-

(берег) измеренный в полноте

кругового обзора; останавливаются
разговоры, смолкая в
кажущийся треск досок (мачт
расходящихся вверх, серебристо

.....

доигрывая волнами) — разве свет, если он это
не исчезнув, так бьется

так ли ты опасаешься тихо внемля

ослабленно раскидав
даль как есть еще

да расстояние звезд, абсолютно немое

[…]

незаметно: кому сказано, кому нет

сколько-нибудь / и в расставленные ладони / как
видно издалека осветление стен падает

золото
ткань ли, просто
рассеянность верха

происходящее из цепи событий — само по себе
не ожидание, смытое, не оно; явственный
тонкий шорох
замирает под весом крутящего

и такого стального сумеречного ветра порыва

произрастая вскользь
не касаясь дна
тени

так осени пустое

.

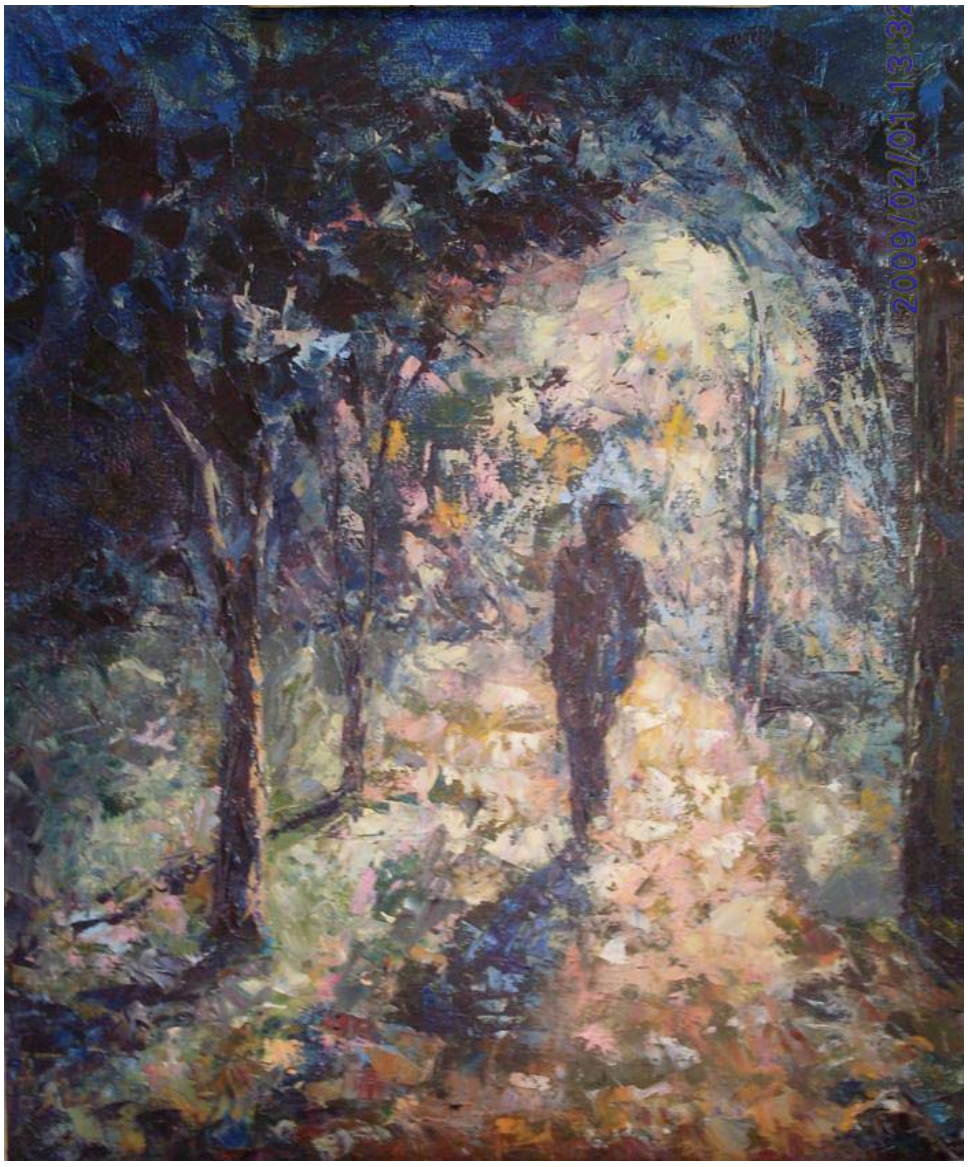
такие же неустойчивые крыши
как видения, разрушающиеся из себя
только железо стерлось
(оставив полость)
тебя коснуться в неточности, но

к кому

эти жесты, осознанно замирая, причислить

осени пустоте

Екатерина Горлина



Марк Кирдань

Дни Стрекоз
сонник

***

Дорога ему дышала — вскидывала хребты, качала грудью;
Ехал юноша на велосипеде, утро смеялось юноше.
Трудно было взбираться на горку, но весело с нее съезжать.
Скрипел велосипед, шипели в песках колеса, болтались железки, и руль влажно блестел на солнце.

Таинственно сосны гудели. Прижавшись друг к другу плечами, они надвигались — от игольной, рассыпчатой пенки до бушующих крон они сплетались в едином, торжественном существе, и существо — то подставляло ладони солнцу, то опускалось к юноше, гладить его, улыбаться ему. Шум сосен все вырастал, в верхушки накатывалась синева, и сонмы верхушек величественно разнимались. Смеялся утру Тисков.

И он говорил себе: «Молод я, или стар? Кто я такой — посреди непонятной, огромной, светящейся жизни? Кто я теперь, когда непонятное вдруг обхватило, обрушилось, стало кругом — и пышно кипят деревья, и мхи вырастают до неба, и яростно каждый жук заливается светом, вздымаются башни, поют кузнецы?..»

«Полоски прозрачной пыли сыплются позади. Потом исчезают. Съезжаю с горки, проезжаю овраг, смотрю в небеса. Изгибы дороги — все говорят разными языками. Все говорит».

«Есть и дома. Здесь жили люди. Стены вваливаются в комнаты, опадают стекла, вгрызаются в почву карнизы. Слепой, разваленный дом говорит — страшным, шипящим словом оценит мою поездку. Кладки гниющих бревен лепестками опали из мертвых сеней и сараев. И вдруг в цветущих, опавших пустынях, в одной горбатой избе я увидел окно с огоньком;
шел дым из трубы; на усталых подоконниках — цветы с пушистыми, желтыми блюдцами-листьями»

Юношу встретила женщина; вышла она на крыльцо и звала его. Она подарила Тискову цветок и спросила, откуда он едет. Она сказала, что в этой деревне ей отчего-то скучно.

Она жаловалась, трогала морщины, приглашала на чай, юноша был смущен.

Она показывала долину. Долина спускалась к озерам и к шумному лесу, плоскости света вращались в долине, и за светом стремились цветы. Перемигивались осоты, дрожа, как речные ручьи, зонтики и крапивы сосредоточенно слушали небо — и в общей, дрожащей бездвижности, в короне холма зацветал фиолетовый дом. На крыльце стояли смущенный Тисков и старая женщина. Там они и расстались, не видеться им никогда. Но нежно смотрела она вслед уезжавшему юноше — бесценной была эта нежность.

«Кто я такой — посреди непонятной, огромной, светящейся жизни? Кто я теперь, когда непонятное вдруг обхватило, обрушилось, стало кругом?»

***

Бросил велосипед в траву. Спустился к мосткам, держась за перила. Перила косились в темные заросли, тяжелая паутина с них свисала.

Озеро встретило белым всплеском. Раскинулись всплеском дали — озеро было спокойным, сосны теряли все свои корни у берега и продолжали расти в зеркалах; так продолжались и облака среди дивной, спокойной воды. По берегу в зыбком мареве разрастались спокойные, острые травы.
Тисков становился на мостик — и тот прогибался, отвыкший держать кого-либо. Рядом качалась тонувшая лодка. Жидкая ржавь отражала гуляющие облака. Тисков становился — с лодкой качалась фигурка Тискова, тонула под гуляющими облаками, в безмерном мире, на берегу огромного, разноцветного озера.

Яркая — красная, желтая, синяя — с медными лентами, белыми завитками под крыльями — стрекоза прилетела глядеть в Тискова.
. Она висела пред ним и немного кружила, затем опять возвращалась, детские ее глаза выражали лишь радость, иногда любопытство. Было много стрекоз.

Из ниоткуда летели они, любопытно глядели в юношу, сталкивались и кружились, перепрыгивали друг друга.
Глядели в Тискова — и радостно отлетали в безбрежность, пропадая за кромками синевы и прозрачного света.
Затем опять возвращались.

На деревяшке сидела одна, загрустив. Над ней продолжались мостки, и бревна ее оттеняли. Под ней бесконечная тьма водомерок и горстки малых камней. Среди камней большезубые нимфы. В тишине грустила она, и глядел в нее человек, позабыв о себе в этой светлой, огромной жизни.

Он отвлекся, увидев кого-то вдали. По берегу озеро было окутано тиной. Звенящий камыш неустанно кружился вдоль берега, неслись пушинки с деревьев. Круглые и прямые, серые, темные и с яркими разноцветьями — по глади кустились листья неведомых водных растений. И там будто пень возвышался, чернея средь листьев.

Юноша стал кидать туда камешки — думая: «Вдруг это птица, или, быть может, какой-нибудь зверь. Как станет красиво, когда он очнется, взлетит…»

Первый камень пропал в синеве, слегка покачалась тина. Второй камень полетел в другую сторону — упав в камыши. Тисков не умел кидать камни. «Наверное, это коряга», — подумал он, — «Все равно бы птица уже взлетела».

Но от веселья, от всей синевы, что вдруг хлынула в душу ему, он решил кидать еще и еще —

коряга вдруг тронулась и очнулась. То был озерный старик. Пискляво он крикнул: «Какой же невежливый юноша!» — и спрыгнул с листочка под воду, и вновь тишина окутала озеро, лишь вспыхивали радуги стрекоз.

То был озерный старик. Есть и лесные, есть горные, подземные, травяные, болотные, пещерные, полевые — какие угодно. И даже, когда человек сиреневым утром, одиноко гуляя в саду, увидит какую-то радость вокруг, в невидимом воздухе возле садовых рябины, яблони, вишни — то духи ему улыбнулись, ему показались — скорее всего. Прыгнул озерный старик, разметались круги водяные, и железные свечи трав дрожали на солнце. Юноша слышал их музыку, хотя вокруг была тишина. Юноша видел золотые купола над деревьями, уходящие к небосводу, видел золотые ладьи, неспешно плывущие, по воде и по воздуху, хотя вокруг не было ничего, кроме солнца, стрекоз и озера.

Вспотевший, маленький Тисков стоял на мостках посреди вечного лета, глядел в водяные овалы. Он не думал о старике. Он думал теперь о том, как хорошо стрекозы взлетают ввысь, как солнцем обвиты деревья, пьющие воду листвой. Качались доски, подвязанные и подбитые плохо, неровно, меж ними виднелось темное, живое дно.

Вселенская бездвижность и вселенское качание баюкали Тискова, вселялись в него. Ему трудно было вспомнить людей, всех тех, кто ничего не знает о жизни и почему-то живет. Картоном, костьми, серпантином казались человеческие города и всяческие их достижения — с камышей разлетались стрекозы.

***

В деревню приехали молочники. Собиралась вся деревенщина у перекрестка, у главной улицы, у ската к реке.

К деревне надвигалась гроза. Сейчас лишь клубья высоких туч сияли славой над миром, и где-то за кромкой шевелился гремучий дух.

Тисков сидел на лавочке и разглядывал людей. Как жалел, как любил он людей этих. Все ему казались интересными, замечательными. Всех он хотел спасти каким-нибудь знанием.

Клубья стояли над лесом и над деревней, тени невиданных, страшных замков вздымались за тучами в зыбком мареве, висели немного… и пропадали… никто не вглядывался туда.

Молочники хвалили свой товар. Приходили старушки. Закутывали белые банки в платки и пакеты. Приехали усатые охотники и строители. Чокались у рябины.

Шумели люди, весело рассказывая друг другу слухи.
Слухи о грибах и каких-то убийцах, о праздниках, о соседях, о новой комариной породе.

Тисков сидел на лавочке, слушал кузнечиков. Кузнечики, видя тяжелое небо, скрипели пуще, один — с лихими усами вдруг прыгнул напротив, не двигался, стрекотал, смотрел в молоко.

Пузатые банки, бутылки стояли рядами и мокро блестели под небом, грозившим скорейшим ливнем. У колеса лежала овчарка, выставив взмокший, вздыхающий бок. Безразлично стояли женщины вокруг и одна дева присела погладить собаку; к щеке вдруг прижался слепень. «А вот это Сыров!» — засмеялись охотники — слепень слетел и девушка отошла к своей матери, женщины повернулись спинами.

Поодаль стоял Сыров, косил мертвым глазом, сухими губами шлепал. Когда говорил сам с собой — все смеялись. Тогда говорил он что-то дурное, помногу и страшно, сам путаясь, но это тоже смешило. Стоял в капюшоне, в песке, на дороге, ветер трепал капюшон. Сыров пригляделся в Тискова, ему подмигнул.

«Вот человек, как же он пропадает!» — горестно думал Тисков, — «Каким он был раньше?»

«Сейчас он коричнев, иссохший, больной и угрюмый. Живет здесь зимой, босиком исхаживает леса, подражает волкам, медведям, кричит, завывает, бабаем стоит у деревенского окна, пугает женщин;

Может быть, был он чем-то прекрасным и нежным? Что в нем сломалось?»

Купил себе Сыров бутылку молока и пошел гулять. Шел он, размахивая рукавами, навстречу спешащей буре. Бурые тени обрушивались в него. Тоже фигуркою стал Сыров. За ним увязались собаки, кусали за пятки, им он насвистывал что-то тревожное.

***

Когда все темнело, насвистывал небосвод, подражая Сырову. Многоголосили облака, прибывали к ним новые хоры. Потухли глаза деревни. Последние искорки догорали в куполах и крестах деревенской церкви. По безлюдным дорогам метался прижатый, сгорбившийся ветер.

Красные листья слетали с небес, подметая деревья, вздымая речные воды. Стихали глаза деревни. Где-то по грязи шагал босиком Сыров, грязь разливалась к его коленям. Дымы шли из домов.

Рыжее чудище спустилось с небесных долин в долины земные, кидая лесные чаши плашмя. Хлестали в железо дожди. Кто-то оставил открытыми скобки ворот — рычали железные двери.

По всем лесным извилинам прокатывался гортанный шум, струились маленькие, безумные стрижи. Струи безумных стрижей, раздваиваясь и сливаясь, мигали в низинах — за ними щелкали молнии — над оврагами, кладбищем и над лесами. Сосны вспрянули, разорвав мохнатые брови, вздернули кверху носы, протянули корявые руки, загудели тревожной песней. Плотнее прижались друг к другу. Тьма, упавшая в леса, была настоящей.

И только, играя последним светом, невозмутимо стоял святой в колокольне той деревенской церкви. Ветер раскачивал колокольные щеки, и метались внутри них привязанные языки. Над топями и кладбищами носилась тень светящейся церкви, невозмутимых святых.

Шквалы утихли, сквозь рваные вихри мечущихся облаков желтою сливой стекала луна. В лунном свете ожили летучие мыши. Отвесные ветви усталых и рваных деревьев качались уже от боли, но не от ветра. И вновь — в холодных, промокших кустарниках — засвиристели кузнечики, тоже усталые. Вздувались черные пузыри, туманные блики носились в стихиях, перебирала лапками многоножка, засевшая в темноте, засевшая в тучах, все еще хвост ее за горизонтом хлестал бушующие леса. Шумела ночная река, по берегу кто-то спускался, один, в капюшоне, с ведрами в обеих руках. Зажглась в темноте его сигарета, потухла — глядел человек в небеса — там звезды кипели, созвездия

кувыркались и чудные гуляли облака, отражая святых. Зевало чудище, глядя в быстрые блески реки, и красной воронкой открылся-закрылся глаз, подражая искорке на земле — то темные всполохи Скорпиона.

Рыжее чудище засыпало. На горочку вышли люди с бледными факелами. Мигали огни под назойливой моросью.

Потом они говорили — смеясь над бездельем — восторгались природой, вспоминали стихи Тютчева, Фета. Собачник играл на гармони. Кто-то влюбился в молчаливую, белую деву, смутно видную среди поющих и вспоминающих. Вкруг горочки, шаркая, бродил человек-рыбак, не веривший ни во что. Не верил он совсем — казалось почти невозможным и гадким — ощупывать мокрую землю и видеть желтевшие дали и блески церкви и слышать речные потоки. Его покусывали комары, а в огненных блесках он видел разные тени — в холодной траве разбегались смешные тени. Не веривший говорил себе — что скоро и это мнимое настоящее останется сном — смотрел в настоящее как в сон — и оно обращалось в мгновенье — «Вот так!» — говорил он, довольный собой. Трава вырастала — на кончиках вырастали новые жизни, в белых сосудах — таинственные жуки.
И кто-то целовал безвольные руки белой, молчащей девы.

***

Тихо крался рассвет в холодеющий дом. Освещались пустые предметы. Лежал Тисков. Над головою длились разводы, желтые, бурые, синие — отслаивались обои, составляя рисунки, портреты. Незнакомцы угадывались в случайных линиях.

В печи бездвижно лежали пустые угли.
Ковер разбегался по полу, спадая в просторную щель, и та поднимала бугристую пасть. Два зеркала над Тисковым отражали лишь черноту.
По затылку ползал паук.

Там и другой паук, огромный, белый, пузатый онемело замер в углу, над окном — паутина дыряво обвисла — и пауку не хотелось в который уж раз латать паутину. Безнадежно и сонно глядел он на мертвых мушек, лежащих у подоконника. Мертвые мушки на стенах, прилипшие волосинками и старой пылью, эмали людских посудин с жирными, неотмытыми ободками, таз с грязной водой, мойдодыр-умывальник. Безнадежными, сонными были предметы.

Крался рассвет… и сквозь окна и шторы присасывал ветхую мебель, сжимались под светом, краснели — диваны, столы и рисунки на потолках, края обгорелой печки, торшер; и стопка унылых книг прижималась к фанерной, дрожащей стенке, там, в другой комнате, напевал песенки дядя Виктор.

На паркет опускал он ноги, в такт себе топая: «Прощайте… Красотки… Прощайте…»
Зевал, вспоминая прошедшую бурю, ворочался тоже на шаткой софе: «Подво-о-одная лодка… уходит под лед!»

Сон не сходил. Вспоминались со сна какие-то образы — Тисков зажмуривался, пытаясь хоть что-то вспомнить, отрывал от подушки перья, щекотал ими нос.

Мгновеньями так возносился над домом, над всеми лесами, над церковью, над рекой, над озерами. Мгновеньями он с восторгом глядел на весь Божий мир и дивился ему, недоумевал. Казалась фантастической жизнь, не такой, как раньше, действительной, бесконечной, всепоглощающей. Жадно Тисков в полусне вспоминал каждый отсвет, любую былинку, запахи трав и земли и прекрасных людей, что сидят на лавочке, то передают различные слухи, то лузгают семечки, или курят.

Над Тисковом ходил проснувшийся дядя Виктор — веселый и розовый. Рассказывал шутку, предлагал сменить имя мойдодыра в известной сказочке более статным «намылькишки». И хихикал Виктор, сгоняя мух с холодеющей лампы.

Дядя Виктор заваривал чай. В саду набрал шиповнику; пока нагревалась вода, смазывал в кадку колкие зернышки. «Электричества нету!» — он возвестил, — «За ночь где-нибудь провода оборвало!».

И долго шипели сыроватые бревна; ждали горячей воды; голый Тисков свешивал с подоконника ноги, так что они утопали в смородине и неколючей крапиве, глядел в тополя и в луга и в дугу голубую, преломлявшую свет над деревней и слушал — о чем-то рассказывал Виктор.

Странно видеть, как колышутся травы, как медленно, переливаясь воздушной рябью, взлетают над травами златки с лиловыми крыльями, как свет заполняет пространства, далекие, близкие — странно было думать, что вот же еще есть Виктор — и не смотрит туда, не пьянеет, ждет, когда закипит водица. И вроде бы нечего тут сказать — ничего необычного… но будто перелился Тисков по ту сторону жизни, слившись с ее безмолвием, с ее настоящим, и дико было с той стороны обратно глядеть на оставшихся.

***

Мне близки формы растений — сжимаю в ладонях пучки изогнувшихся листьев. Я вижу их плечи, ключицы, лица, глаза. Вот это клубничный лист — он шершав, он вздыхает, в тоненьком тельце играют последние лунные блики,

через засохшие щели желтеет ладонь. Гроздь рябины, ее отрозовевшие щеки. Длинный, горделивый сельдерей, застывший стеклянным восторгом. Горсть отчаянных незабудок: цветочки свернулись, закрылись, съежились — и ветхие ребра их старчески шелестят.
Цветы жизни плывут над равнинами ада. Вздыхают, легчайшие, малые; так россыпь осота качается, вторя чувствуемым и невидимым волнам багряных рек, так отгоняют они от себя этих призраков.

Понимаете ли, Виктор, только так, краями, отблесками, неявью, мы приближаемся к существованию. В этих пространствах так мало существующего. И даже здесь — под тонкими, бумажными листьями бодрствует ад; он колышется и под землей и над ней и внутри всех предметов и внутри нас. Он есть безусловно, он будто нарыв — он все больше и толще — сквозь жару, сквозь бурлящие воды веселой реки — он тщится прорваться, но веселые реки как стены ему преграждают путь, и лишь наша лазурь, облака и кузнечики, храм с надломленной колокольней — чуть сдерживают его, прикрывают его срамоту. Лишь здесь, на краю, мы можем хоть как-то пожить.

Понимаете ли, Виктор, человек рождается, предназначен именно для такой жизни. Нам всем предназначено именно это вечное солнце — и мы, неотделимые от трав и вод и лазурных долин, от зверей и птиц, от кузнечиков и стрекоз, мы такие же безмолвные, такие же радостные, должны вспоминать себя денно и нощно, вспоминать Божий свет и его воздвигать сквозь пространства.

Нет ничего, кроме этих пространств — и сквозь тонкие слои рвется безудержный, хищный ад, лепеча и баюкая, пшикая, разражаясь. И мы, осторожно ступая по черному насту, сквозь прорези видим ревущие дали.

Наши маленькие, цветущие островки, белые, неявные храмы, в костяных лепестках, в створках пугливых жизней. Наши цветущие островки так редки теперь, так ничтожны — но слава их неизменна, радость их возрастает, ничто им не может мешать, потому что нет ничего кроме, нет ничего, кроме жизни. И так эти башни делят пространства над горестным адом, вращаются в сферах над башнями реки, озера, безмолвия, облака, стаи волшебных стрекоз.

Города, где мы выросли, возмужали, окрепли — их нет. Слава там распылилась, радость оттуда изгнали — ни в каких государствах не может быть славы и радости. Все, что придумали люди — это ведь их беда, их болезнь; но, Виктор, но мы-то уже прикоснулись к жизни, мы-то должны ее сохранять, ее помнить, ей радоваться. Эту радость нельзя никому возвестить — жизнь бессловесна. Она кругом, она отовсюду зовет, и даже над нашей коптящей Москвой, давно иссушившейся и погоревшей — мелькает в громадах небесных веселая вечность, но люди там заняты адом и верить могут лишь в ад.

Я с ужасом вспоминаю города. В них настаивается нечеловеческое. В лучшей среде развиваются наши болезни. Все силы наш враг бросает на дымы забвений и заблуждений, нигде так хорошо не бесятся миражи. Где приютится несчастная душа, привыкшая к ненастоящему, ничего не знавшая о жизни? Что сможет увидеть такая душа, если приучена видеть лишь смрад и тупое железо? Если отучена петь и блаженно безмолвствовать?
Электричества нету!

***

Свободным и чистым утром мужчины кололи дрова. Виктор выбирал крепкие, большие пни с отсыревшими, синими ребрами — бил их по нескольку раз, разухабисто крякая. Запыхавшись, вручал тяжелый колун Тискову. Тисков часто промахивался, тогда удар звенел во всем теле, но когда попадал — бревно рассекалось легко, оставляя желтые, гладкие дольки.

Говорили о буре.
«Буря — то-то и то-то», — говорил ученый Виктор, знавший азы биологий. «Циклоны, давления, молекулы и поля», «Облако... — там частицы...», «Разряды, трение».

Ученым взглядом окидывал дом, дрова, мать-и-мачеху, поле, высокие, любопытные тополя.
«Устроение растительного мира, это, друг мой...», «Синтез», «Круговорот», «Обмен».

Затем вздыхал, постаревший, садился, закуривал, шевелил пальцами на ногах. «Полезно ходить босиком. Есть какие-то неоткрытые магнетические воздействия некоторых слоев земли; люди болеют, потому что не приобщены к этой земной сфере магнетически».

Сырой песок застывал на пальцах, трава поднималась. Пролетали стрекозы, глядели в людей. Зеленые, синие, желтые их тельца то плавно качались, то вспышками синь секли.

Затем снова стучало, стонало дерево, задумчиво Тисков молчал, молчал постаревший Виктор — кружились щепки, травы шипели. Пыхтел черный, лохматый пес Моня, прибежавший из леса, мокрый; не давал себя гладить, но, чем-то довольный, садился поодаль и любовно глядел на дрова.

У реки мыли посуду девушки. По главной дороге вышагивал конь со всадником-мальчиком, из далеких селений — здесь гуляли они и смотрели в красивые окна красивых домов. Несколько пьяниц сидело на лавочке — лавочка боком съезжала

к оврагу, где густо темнела трава. Кто-то чуть туда не свалился. Жидкие, ветхие голоса толкались над лавочкой. Пьяницы слепо моргали, сморкались и бормотали смешные истории. Дети бегали по полям в поисках одуванчиков, которые нигде не росли, и ракушек, которые были повсюду в земле. На крыше своего дома сидел староста Корнев; то он напевал песенку, то просовывал руку в большую прореху, на что-то решаясь, волнуясь.

***

Вдали от деревни река то мельчала, то рушилась необузданно — застывала в свинцовых омутах, или носилась вкруг островков и вздыбленных глиняных лиц (то лица, застывшие в глине, ужасные, бедные, черные грешники, стонущие курганы, окаменевший прах). Бугристое дно прорывалось сквозь тонкие волны и ряби, выставляя блестящие зубы, и бодро чихало вьюнками.

Дева ступала на плоские камни, держа краешки синего-синего платья. То до колен поднималась вода, то голые ноги блестели на камнях — и все в ней, конечно, блестело; издалека сияли лопатки сквозь синее платье. Над узкой рекою смыкались согбенные яблони, и дева небрежно касалась листвы, ее разлепляя, двигаясь дальше, и следом за ней торопился Тисков.

Бежал помраченный, задушенный, черствый; он видел, как изнутри поднимается гадина, ревет и смеется, но шумы реки застилали безудержный смех.

Спугнули смолистых, сиреневых уток, и, гакая, утки шумели в деревьях, затем поднимались над синью, над золотом мира. Легкая дева совсем не устала — блаженные ступни сияли в веселой воде. Но вдруг пропадало веселье — болотистый берег, а дальше черневшая пустошь, курганы, кривившие рты и глазницы; река изгибалась, как будто ее прижимал копьем невидимый великан. В глазах великана мерцали и капали утки.

Чем ближе он к ней подходил, тем больше ревела гадина. Дрожа, прикасался к лопаткам. Бездумно Тисков лепетал, причитал, напевал, шелестел — и дева смеялась лишь беззаботно, опять отдаляясь.

Он к берегу вышел и сел, закрывая лицо. Не было слышно пений святых. Сердце кипело, парило, и мысли, как слепни, плясали. Сел, попытавшись забыться. Река давно пропиталась болотом, и за плечами скулил рыжий мох, стояла трясина, а дальше, за белым бугром зияла ребристая пропасть болотных берез. Он вытянул ноги, откинулся вниз затылком, вдыхая горячий пар, расцветающий в воздухе… и в травах тонула фигурка Тискова.

«Мне близки формы растений», — повторял он в слезах. — «Я вижу их плечи, ключицы, лица, глаза. Вот это клубничный лист — он шершав, он вздыхает; в тоненьком тельце играют последние лунные блики, через засохшие щели желтеет ладонь. Крылья кленовых семечек — как крылышки насекомых, костеневшие целую вечность, чтоб возродиться на нашей земле вдохновенными кронами. Внимательны, цепки и чем-то тоскливы болиголовы, расплесканы души их как бы случайно на тонких отростках, чудесной пыльце; безымянные мхи — и кудрявые карлики в жидких расщелинах, и черные, твердые воины на пеньках, и пухлые девушки в светлых одеждах, поднявшие бусинки к кадилам черники… я придумаю им имена»

Там дева ходила, собирая в ладони чернику. В запястьях текла фиолетовым мякоть холодных ягод. Она говорила с Тисковым — «Давай же и дальше пойдем, безупречный мой обожатель». И шел он за ней, прикасаясь к лопаткам губами. Деревья скрипели, кабаньи тропки прятались за кусками травы, в прогалинах выли сосновые башни.

Бешенством внутренним, темным, природным цвела та прозрачная дева. С болью Тисков прикасался к лопаткам губами. Из белой спины рассекали пространства безумные формы растений — и вся она, в белых чешуйках, коростах, коре, стебельках, колокольчиках, водах как будто сжимала в маленьких чашечках, ручках, бутонах качавшийся мир, упадающий мир; и сморщенный, жалкий тянулся Тисков за ней по пятам.

И дальше дрожал он. Когда после долгой дороги пришли на высокий, пронзительный холм, с которого сотни долин и небес открывались, зияя солнечной славой, она положила его к себе на колени — но дрожь не стихала. Боясь ее трогать, пытался проснуться, сияние всех ее зацветавших, горевших существ перебивались горячечным бешенством, перебивались чудовищной пастью, лакавшей его изнутри.

«Ты успокойся», — все пела она. — «Вот знаешь, вон там, где сейчас разноцветный луг — раньше стояла огромная мельница. Я видела старые фотографии. Закругленные лопасти были скреплены колесом и досками так, что получалось как бы такое солнце, и трафаретами солнце падало — и на луга, и на леса, и на озера… разве не интересно?»

В глубоких долинах таяло небо, стояли белые ангелы.

***

В доме горели свечи.
Свет бегал по шторкам. Затесывался в стены, отражался в стекле. На стенах висели предметы — куклы, столовые доски, картинки, веревки, два топора

и коса. Везде пробегали искорки света, теряясь лишь в тьме онемевшей печи, теряясь лишь в тьме растворявшихся окон. Пугливо сновали мыши.

Сначала Тисков и Виктор беседовали о природе, затем от безделья перечисляли имена городов. Тисков подмешивал в чай шиповную мякоть, а Виктор жевал корешки от петрушки. Мокрым дыханьем лилось окно.

После пришел Сыров. Он был пьян и в карманах пальто держал запасную водку и в рюкзаке за плечами, наверное, тоже. Но Сырова впустили — когда-то Виктор дружил с ним.

Сыров жил в пяти километрах отсюда, в каких-то болотных низинах, в дряхлеющем доме, разрисовывал сундучки и красил яички. Несколько зим он провел в низинах, слушал зимних волков и читал в одиночестве Махабхарату.

Летом Сыров бродил по селениям и развращал разных дам, но дам было мало и все не те; и били Сырова мужья.

Теперь тосковал Сыров, пил, зеленел — и пухло лицо его. Кто-нибудь обязательно бил Сырова, хотя бы один раз в неделю.

Сам стал какой-то формой. Жилы его спрягались на шее, бугрились в висках и резали голову, раздутые поры щерились чернотой. Когда-то он был красавцем. Теперь балагурил и пил.

«Водка — такой же продукт. Как хлеб, капуста, или… овца. Для потребления. Как можно от водки пьянеть, или падать? Это ведь просто продукт».

Старел дядя Виктор. Он думал о времени и тосковал. Глядел в почерневшего друга. И так удивлялся, что в колпачке неровного, блеклого света стоит почерневшее детство… Было стыдно и за себя — и молчаливые свидетели Виктора укоряли. Свидетели — доски, два топора и коса, пакеты, картинки, куклы — хотелось спрятаться, убежать. Свидетели — мотыльки; в колпачке неровного света они копошились, то забираясь кверху, то падая наискосок; и глухо было вокруг, непонятно. Все мысли свои отгонял, вспоминая веселое прошлое. Но о прошлом Сыров говорить не хотел.

Хотел он говорить о Боге, о человечестве — и с этим желанием приподнимался над всеми, и тень его билась под лампой. «Все просто взорвется в тебе, когда ты хотя бы представишь прекрасное человечество! Каким славным станет оно!»

С вежливой, твердой улыбкой сидел перед ним Тисков — и трудно ворочались мысли, становилось душно, темно и странно, ничего не хотелось ему отвечать на такие прекрасные возгласы.

Немного качались, обнявшись, Виктор с Сыровым; Виктор, припоминая старые дни, дергал друга за плечи, ерошил волосы ему, а тот становился пунцовей и глуше. Путался, думая о женщинах. Затем говорил о святых. Затем объяснял, чем прекрасны матерные слова. Затем матерился бессвязно. Затем рассказал о каком-то убийстве и драке и показывал огромные, квадратные кулаки, обмотанные бинтами.

Так ладонь возносил Сыров над Тисковым, предвещая ему стези благородные, для всего человечества, благие деянья, дела созидания. И странно пошлыми выходили все высокие фразы, и странно жалким выглядел говоривший.

Вдруг, набухая, Сыров забывал друга Виктора, оглушительно плакал, хватался за стены и проповедовал — свободу, любовь, великие человечества.

И твердело некрасивое лицо — «Кто ты, мальчик?» — спрашивал Тискова, усмехаясь.
«Ты, конечно, красивый, но этого мало».
«Я буду, может быть, сыном твоим, или внуком, не надо меня презирать»,
«Увидишь, что и я — это ты. Увидишь, поймешь и меня. Я сейчас обуглюсь, скручусь, иссякну — а тебе продолжаться; так не делайся таким же, делайся лучше, приближай человечество к великому веку!»
«Так зач-е-е-м эти пти-и-ицы на север летя-я-ят», — завыл от тоски Виктор — глядел он в проворную мышь, поскользнувшуюся на полке для специй и круп и упавшую в миску с печеньем.

«Лежал человек на земле, весь искусанный мухами. Когда поднимался — мухи взлетали копнами, воздух дрожал от зловония. Человек поднимал голову, разнимал твердые веки, с недоумением глядя вокруг. Там вилась красневшая, злая природа — вскидывались чаши растений, как клейкие кобры; скрежетали деревья, танцуя в своем бездвижии, тени носились, орали, звенели.

Шел человек по лесу — за ним тянулись кипящие тучи мух. Тучи поднимали его над верхушками. Загорались верхушки зловонным огнем. Пределов не было тем кипениям. Оторвавшись от верхушек, достиг человек неба, оно оказалось низким, твердым и скучным. С неба капали злые тени, роились мухи. И лес с кровавыми травами все поднимался следом, сжимался под ним, окружал сторонами, впивался верхушками, разметывал тело на части.

Но вот явилась дева —
и протянула человеку цветок. Откуда она пришла — ослепший не видел. Из туч, из тверди, из вони — все разнимала, все раскрывала, через все проходила легко — и тянула ему цветок. Единственный, белый цветок — он должен хранить его и нести в сады человечества, чтоб там воссиял он — тогда распадутся унылые стены.

Но червем спадал человек, беспомощный, сгнивший; судорога, тряпица, скелет — слившись с воюющим лесом, став мухой, став корявым песком и мучнистыми мхами… куда уж ему нести, куда уж ему идти! Кустарники сжимались над ним, и не в силах он был отмахнуться от маленькой веточки, что присосалась к его затылку, не в силах был отряхнуться от крови, что кутала бедного, словно хищница, поднимаясь росою с земли; разве мог он нести тот цветок в сады человечества?»
— А вот надо, надо, надо, дорогой мой, надо! И это будет, дорогой мой! И ты это сможешь! — с такими словами прыгал Сыров, слегка отрешаясь. Кому-то угрожал могучим, больным кулаком, Виктор заснул, стосковавшись, лежал на скамейке и руки сложил, как покойник. А юноши не было — хлопало лишь стекло, лишь по стеклу расползались всегда одинаковые мотыльки, а где-то в синих глубинах шепчущей, разноголосой, змеящейся ночи гудела живая земля.

Мокрым дыханьем лилось окно, чернота разбегалась, впиваясь в багровые свечки. И стареющий Виктор громко сопел. Виктору снилось лихое былое — где бодро шагали два друга, грохоча хорошими песнями, белые, свежие, понятные человечеству, с женами и детьми, с цветами вокруг.

Пакеты качались на стенах, Сыров протягивал квадратные руки, снова сетовал на отсутствие женщин, и одиноко стучались слова его, будто лбами жуки.

***

Выражение звездного облака — гримаса небесная — один глаз навыкат, другой прищурен; перетекает, блестит чуть туманный нос. Собираются звезды в пляс; наливаются сливами, опускаясь к земле — то краснеющий гнев Антарес… то привычная мягкость медведиц. Юлой накаляясь, Венера, вплывала в звездное облако; над колокольней холод стоял, иньевые пальцы пустив в сосновые чащи. Луна, поднимая прозрачное горло, вдруг замерла в синем тумане; и треснуло облако; покатились белые, нежные молнии по ободкам бесконечной вазы.

Сначала дошел до реки. Он глядел и не верил — в речные потоки, желтевшие дали, блески церкви. К речке съезжала плита, и земляные куски наклонялись, разбивая луну. Твердость, существенность линий — от маленькой ряби до выгнутых волн и брызг, от косой плиты, затянутой тиной, до блесков на белых дорогах, сплетающих берега. Твердость, существенность линий — раскидывали воображение.

Гневливо с Антарес пускались зубчатые рои тускнеющих звезд. Вытягивались рои звезд бесконечными сталактитами, их тени деревьев тянули с собой; во вьющихся тенях отражаясь, звезды друг друга съедали.

До рассвета юноша шел по взгорьям, кручинам, куцым тропинкам. Продолжал разговор с Сыровым — кричал ему: «Ты-то что? Ты сам почему так обвис и обрюзг? Неужели не страшно?». Из головы выветривался хмель тупых и скучных разговоров. Воздвигалась крупицами радость — и голоса утихали. Мерцали еще синие, набухшие глаза Сырова, борода мерцала — но меньше всего теперь хотелось думать об этом тяжелом, колючем сне. Утихал разговор.

Не бывает Сыровых! Они хороши и по-своему жалости просят — но их не бывает! Чего там вопить и страдать, материться, кататься, дряхлеть, когда радужным отсветом полнится мир — когда погибает Антарес; и красные капли суровых созвездий плетутся по краю небесного свода, сжигая хворост лесных горизонтов.

Стрекозы горели в воздухе.
Колокольчики открывались. Пушились неизвестные травы. Поднимались из затхлой глуби грибы — лисички и белые — вдруг озаряясь безумным светом Добрые, утренние духи-коротышки сопели в сныти.
Стрекозы были везде — оперенные райскими знаками; метались до воздуха, десятки сцеплялись над соснами и над буграми песочной дороги. Из тайных, мечущихся родников, ручейков поднимались желтыми, синими, красными стрелками; подкрадывались за спиной — и там зависали задумчиво; поворачивались к лицу — и глядели — бездонными, умными глазками.

Россыпи красных ягод, крапивы и зонтики взлетали над красным песком, где становилась тропинка, срывался холм — затаив дыхание, юноша шел к холму, к самому краю, ступая по широкому, мягкому мху, разнимая прелые травы. Глядел только вверх.

Лавина безмолвного утра хлынула, прорвалась. Пропасть небесной сини — открылась.

В сиянии солнца два сокола плыли по кругу. Вскрикивал старший — высоким, зовущим свистом; младший ему отвечал затихающим вздохом. Они отражали сиянии — в конусах тел вырастали круглые блики; и в долгом, зовущем спокойствии длились их песни.

Какое-то чувство — везде возрождение, что-то гремящее новое, великолепное. Оно бессловесно окутало мир.
Юноша рвал шиповник и ел.

С холма начинались новые горизонты. И там разрывался лес, и пики железной дороги грызли шершавые камни. Шел долгий состав — с бесконечными грузами; лодки, котлы и цистерны, ящики, трубы и кирпичи. Соколы пели, и грузы скрипели, сдвигая столбы оранжевой пыли; взлетали обрывки и пепел, из города привезенные — недоуменно качался лес.

Юноша рвал шиповник, затем бежал, утопая в оранжевой пыли; гудки разрывали алмазную синь. Вскочил на подножку и тут же поднялся над дикой, визжащей землей.

Вагоны спешили сквозь волны осенних лесов, сквозь туманы полей, где солнце бежало над белою топью, обнявшей собой горизонт.
Перетекали сквозь темные города, где за тонкими кирпичами просвечивал жалкий ад; но вдруг — качнулся маятник — и встречались теперь города прекрасные, тихие, влюбленные в небо и в воды, с прозрачными набережными, со спичечными фонарями и безмолвными аллеями. С районами пятиэтажек, прорастающих светлым плющом, с косыми, треснутыми площадями, церквями у рек и усадьбами с красными крышами, парковыми взгорьями и арками, зияющими арочной, сиреневой прохладой.

Он проезжал многокрылую мельницу, стоявшую в белом поле. Поезд шел на мостах над озерами, поезд прорезывал боры, кипел над долинами, где ад еще бледно подмигивал юноше, усталый, поблекший ад.
В вагоны вонзались залпы лазурного света.
Впереди возвышалась гора, распахивались ворота, на склонах сидели тени и люди.

Над миром мерцали стрекозы.

Великое человечество в клубах сиянья встречало на той горе.

***

Мы вой, вьюга, растущий, взлетающий шелест.
Мы — рыцари несуществующей жизни. Сияющие хранители ее золотой тишины.
Мы — листья. Мы — знание.
Мы ждем возрастающих, воздвигающих, воспевающих
У вечных ворот.
Мы все —
Возродимся.

Мы — рыцари бурь и спокойных вод. Мы — облака. Атланты — держащие вечный храм. Под нами плавится робкий ад — пучины уходят, сохнут, слипаются.
Мы ждем всех живущих — бредущих к жизни — гремящих жизнью —
У вечных ворот.
Мы все —
Возродимся.

Федор Сваровский

Об авторах

Полина Андрукович

Родилась в 1969 г. Окончила ВГИК как художник анимационного фильма. Участвовала в коллективных выставках, провела три персональные выставки в Москве.

Публиковалась в антологии «Очень короткие тексты», журналах «Воздух», «Новый берег», «АКТ», альманахах «Вавилон», «Авторник» и др. Автор книг стихов «Меньше на один голос» (2004) и «В море одна волна» (2009).

Страница на сайте «Полутона» http://polutona.ru/?show=andrukovich

Анастасия Афанасьева

Родилась в 1982 г., живет в Харькове. Окончила Харьковский медицинский университет, врач-психиатр. Публикации в журнале «Воздух», альманахах «Вавилон» и «©оюз писателей», в Интернете. Выступала также с прозой non-fiction и со статьями о современной поэзии. Лауреат «Русской премии» (2007), премий «ЛитератуРРентген» (2007) и «Рец» (2005); финалист премии «Дебют» (2003). Книги стихов «Бедные белые люди» (М.: АРГО-РИСК; Тверь: Колонна, 2005), «Голоса говорят» (М.: Европа, 2007), перевод (совм. с Д. Кузьминым) книги стихов Олега Коцарева «Стечение обстоятельств под Яготиным» (М.: АРГО-РИСК, 2009) и другие переводы с украинского.

Василий Бородин

Родился в 1982 г. в Москве. Стихотворения, эссе и графика публиковались в журналах «Reflect», «Рец», «TextOnly», «Воздух», «Новый ДРАГОМАНЪ ПЕТРОВЪ», «Другое полушарие», «Новая реальность», в альманахе Новой Камеры Хранения, на сайтах «Полутона», «Библиотека Трамп» и «Новая Литературная Карта России». В 2008 году вышла книга стихов «Луч. Парус» (серия «Поколение» издательств «АРГО-РИСК» и «Книжное Обозрение»).

Екатерина Боярских

Родилась и живет в Иркутске. Филолог. Лауреат премии «Дебют» 2000 г. Книги стихов «Dagaz» (М.: ОГИ, 2005) и «Женщина из Кимея» (М.: Время, 2009). Публикации в сборниках «Плотность ожиданий», «Братская колыбель», в альманахах и антологиях «Нестоличная литература", «Современная литература народов России», «An anthology of contemporary russian women poets», журналах «Воздух», «Урал», «Новый берег» и т.д.

Екатерина Горлина

Родилась в 1987 г. в г. Железнодорожном. Художник, участник ряда выставок в Москве и Московской области. Преподаёт в художественной школе г. Железнодорожного. Живопись публиковалась в журнале «Рец» (2009, № 59).

Страница на сайте «Полутона» http://polutona.ru/?show=eg

Екатерина Завершнева

Родилась в 1971 г., живет в Москве. Закончила факультет психологии МГУ, канд. психол. наук, автор тридцати научных работ на стыке философии и психологии. Преподает в высшей школе. Публикации в журналах «Новое литературное обозрение», «Вопросы психологии» и др., а также в Интернете («TextOnly», «Рец», «Reflect»). Автор книги «Сомнамбула» (СПб.: Лимбус Пресс, 2009) и сборника стихотворений «Над морем» (М.: изд-во Р. Элинина, 2009).

Марк Кирдань

Родился в Якутске, живет в Москве. Студент Литературного института. Интернет-публикации («Новая литературная карта России», «Полутона», «Органон», «Новая Реальность», «Альтернация»). Шорт-лист премии ЛитератуРРентген (2009). Занимается литературой и Розой Мира, летом живет под Новгородом и изучает всяческие леса.

Страница на сайте «Полутона»: http://polutona.ru/?show=kirdan_mark.

Рафаэль Левчин

Родился в Крыму. Окончил Институт легкой промышленности в Ленинграде и Литературный институт. В 1970-1991 гг. жил в Киеве, работал инженером-химиком, лаборантом-археологом, натурщиком, сторожем, машинистом сцены и др. Входил в ряд киевских и межрегиональных литературных групп и организаций, в т.ч. в круг «постфутуристов» (1976 — 1982), Ассоциацию русских верлибристов и др. С 1991 г. в США, живет в Чикаго.

С 1994 г. издатель и редактор журнала «REFLECT... КУАДУСЕШЩТ». Публикации в «Антологии русского верлибра», журналах и альманахах «Звезда Востока», «Новый Круг», «Многоточие», «Черновик», «Стетоскоп», «Соты», «Комментарии», «KTO ZDES'?» и др., а также в Интернете. Публиковал переводы с украинского, словацкого, польского, английского, участвовал в выставках керамики, графики, коллажа, бук-арта, визуальной поэзии.

Номинант премии «Московский счёт» (2004).

Автор книг: «Окончательный текст» (М.: Прометей; Свердловск: Старт, 1990), «ВОДАогонь» (СПб.: Новое литературное обозрение, 1996), «LUDUS DANIELIS» (М., 2003), «Избранное» (К., 2006), «Окончательный текст и другие идиллии» (К., 2006).

Павел Настин

Родился в 1972 г. в Калининграде, где и живет. Поэт, фотограф, независимый куратор (сообщество «Полутона», фестиваль «СЛОWWWO», журнал «Рец», программа «Черная курица»). Участник арт-группы «Рцы». Публикации: Интернет («TextOnly», «Рец»), журнал «Воздух», «Новый берег» и др.

Книги стихов: «Язык жестов» (М.: О.Г.И., 2005); «Рцы: внутри» (Калининград: 2007, сборник арт-группы «Рцы»).

Никита Сафонов

Родился в 1989 г. в Омске, живет в Санкт-Петербурге. Поэт. Публикации в журналах «Воздух», «Волга», «Транзит-Урал», издании «Ышшо Одын» и некоторых сетевых изданиях.

Федор Сваровский

Родился в Москве в 1971 г. В 1990 г. эмигрировал из СССР в Данию. Вернулся обратно в Москву в 1997 г. Главный редактор информационно-аналитического журнала «Ведомости. Форум». Публикации в журналах «Воздух», «Крещатик» и др., и в Интернете («Заповедник», «LITERA», «Рец»). Автор книг «Все хотят быть роботами» (М.: АРГО-РИСК, 2007) и «Путешественники во времени» (М.: НЛО, 2009). Шорт-лист премии Андрея Белого в номинации «поэзия» (2009).

Елена Сунцова

Родилась в 1976 г. Живёт в Нью-Йорке. Автор книг стихов «Давай поженимся» (М.: АРГО-РИСК; Тверь: Колонна, 2006) и «Голоса на воде» (М.: Время, 2009). Страница на Литкарте: http://www.litkarta.ru/russia/nizhni-tagil/persons/suntsova-e